

Поэль Карп

ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Том 1

Петербург

2019

Поэль Карп

ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Том 1

Петербург

2019

УДК 82-1/-3
ББК 84(0)
К26

П. Карп
Избранные переводы. Том 1. – СПб.: ЛЕМА, 2019. –
350 с.

В публикуемом трехтомнике собраны наиболее значительные переводы известного петербургского литератора Поэля Карпа. Первый том содержит трагедию Шекспира «Юлий Цезарь», роман Гете «Страдания молодого Вертера», лирику выдающегося немецкого поэта Йозефа Эйхендорфа и др.

© Поэль Карп, 2019

978-5-00105-475-7
978-5-00105-476-4 (Том 1)

Том первый

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР 1564-1616

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ 1749-1832

**ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ЛЕВЕНШТЕЙН-
ВЕРТХАЙМ 1780-1842**

ИОЗЕФ ФОН ЭЙХЕНДОРФ 1788-1857

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН 1788-1824

Уильям Шекспир 1564-1616

Сонеты

42

Не в том беда, что друг сошелся с милой,
А друга жаль, что был дороже всех.
Утрата друга жжет с особой силой,
Но я обоим вам прощаю грех.

Ведь ты же дорожишь моей бесценной,
Она же, с лучшим из друзей греша,
Дает понять самой своей изменой,
Что мне принадлежит ее душа.

Не стало друга – милая довольна,
Любви не стало – счастлив друг вполне.
Вас видеть вместе нестерпимо больно,
Но вместе вы лишь из любви ко мне.

Коль скоро друг был двойником моим,
Я вправе счесть, что это я любим.

66

Устал я жить и мир оставить рад,
Не видеть, что у нищих благородство,
И у ничтожеств золотой наряд,
И пламенная вера предается,

И лезет вверх сомнительная честь,
И растлено девичье достоянье,
И мажут грязью лучшее, что есть,
И сила силой быть не в состоянье.

И власть искусству затыкает рот,
И глупость судит разум вдохновенный,
И честность простоватостью слывет,
И в лагерь Зла Добро бредет, как пленный.

Устал я жить, и смерть страшна лишь тем,
Что друг мой станет одинок совсем.

Посмотришь в зеркала – пропала прелесть,
Посмотришь на часы – прошла пора,
Но на листе не зря запечатлелись
Раздумья, одолевшие с утра.

Покажут зеркала любой морщиной,
Что ждет могила каждого из нас,
Подскажут стрелки беготней мышьиной,
Что к вечности толкает каждый час.

Но то, что память стерла без остатка,
Пусть уцелеет в записи твоей.
Когда туда заглянешь, будет сладко
Узреть тобой взлелеянных детей.

От встречи с ними заживешь иначе,
И книга будет у тебя богаче.

Грех вожделенья в том, что на бесстыдство
Изводишь душу. Вожделея, ты
Мог злым, жестоким, грубым становиться,
Презревшим клятвы, чуждым правоты.

А овладев тем, что тебя манило,
Его стал презирать. И не в чести
Былой предмет, как будто злая сила
В соблазн вводила, чтоб с ума свести.

Безумен тот, кто жаждет утоленья,
Равно безумен утоливший страсть.
Сперва манят блаженные мгновенья,
А сон пройдет – и не избыть напасть.

Но, зная всё, парим еще охотней
На небесах, влекущих к преисподней.

Ты меру знай в жестокости самой
И не казни презреньем – из боязни,
Что, не сумев недуг осилить мой,
Я расскажу про тяжесть этой казни.

И, хоть надежды бросить мне пора,
Уверь меня в своем благоволеньи, -
Ведь умирающему доктора
Сулят надежду на выздоровленье!

Иначе – до отчаянья дойду,
Отчаявшись – тебя порочить буду,
А подлый свет начнет в моем бреде
Искать, конечно, истину повсюду.

Так, чтоб от черной лжи нам не пропасть,
Скажи, что любишь, хоть иссякла страсть.

ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ
Трагедия
Действующие лица:

Юлий Цезарь

Октавий Цезарь
Марк Антоний
Марк Эмилий Лепид

– триумвиры после смерти
Юлия Цезаря

Цицерон
Публий
Попилий Лена

– сенаторы

Марк Брут
Кассий
Каска
Требоний
Лигарий
Деций Брут
Метел Цимбер
Цинна

– участники заговора
против Юлия Цезаря

Флавий
Марулл

– трибуны

Артемид Книдский

– учитель красноречия из Книда

Прорицатель

Цинна

– поэт

Другой поэт

Люцилий
Титиний
Мессала
Молодой Катон
Воллумний

– друзья Брута и Кассия

Варрон
Клит
Клавдий
Стратон

– слуги Брута

Люций
Дарданий

Пиндар

– слуга Кассия

Кальпурния

– жена Цезаря

Порция

– жена Брута

Сенаторы, граждане, стража, свита и т.д.

*Действие по-преимуществу идет в Риме, а также при Сардах
и при Филиппах.*

АКТ I

Сцена I

Рим. Улица.

Входят Флавий, Марулл и кое-кто из простого люда.

Флавий

Прочь, по домам, лентяи, по домам!
Что нынче вам за праздник? Неужели
Не знаете – кто ремеслом живет,
В рабочий день не смеет выходить
Без инструмента? Ты чем промышляешь?

Первый простолюдин

Я, сударь, плотник.

Марулл

А где же фартук твой и где отвес?
С чего же ты так пышно разоделся?
Что у тебя за промысел?

Второй простолюдин

По чести, сударь, ежели с добрым работником равнять, мое дело, не стану опираться, худое.

Марулл

Да ремесло у тебя какое, говори толком!

Второй простолюдин

Ремесло, сударь, такое, что, надеюсь, могу с чистой совестью дело свое делать. А дело мое, сударь, помочь, коли порок, какой объявился.

Марулл

Мошенник, да в чем помочь? Помогашь-то в чем, мошенник ты этакий?

Второй протолюднн

Нет, уж я прошу, сударь, не расходиться. А то можно и разойтись, ничего. Я поправлю.

Марулл

Это еще что? В чем это ты меня, наглец, поправлять собрался.

Второй протолюднн

Да, рубчики, сударь, положу.

Флавий

Ты, стало быть, сапожник?

Второй протолюднн

Вот оно, самое, сударь, и есть, только шилом и кормлюсь. И ни в какие материи, ни по деловой части, ни по женской, не вхожу иначе, как шилом. Я, действительно, сударь, целитель поношенных сандалий. Ежели им что грозит, я их спасу. Самые безупречные из тех, кто ходит на бычьей шкуре, от моей работы пошли.

Флавий

Зачем же нынче ты не в мастерской?
Зачем по городу ты водишь толпы?

Второй протолюднн

Затем, сударь и вожу, чтобы обувь посбивали, и мне работы побольше было. А по правде, сударь, мы праздник устроили, чтобы на Цезаря поглядеть и порадовать на него.

Марулл

Чему вы рады? Кто повержен им?
 Кого за гордой колесницей в Рим
 Ведут в цепях? Вы камни, вы чурбаны,
 Вы хуже, чем бесстрастные предметы.
 Вы римляне, жестокие сердца,
 Не помните Помпея? А давно ли
 Вы на стены карабкались, вы лезли
 На крыши, вы на трубы забирались,
 И целый день, с ребенком на руках,
 Могли там терпеливо поджидать
 Покамест въедет в Рим Помпей
 Великий? Едва его являлась колесница
 Не раздавался ль восхищенный глас,
 Да так, что Тибр в волненье приходил
 От сотрясения, вызванного эхом
 Восторженного рева?
 И ныне вы столь пышно разодеты?
 И вы справлять спешите торжество?
 И вы цветами встретите того,
 Кто шел к триумфу по крови Помпея?
 Так по домам!
 Поторопитесь преклонить колени,
 К богам взывая, дабы в наказание
 Мор не наслали за неблагодарность.

Флавий

Ступайте, граждане. Вы от напасти
 Спасетесь, коль собрав таких же бедных
 Пойдете к Тибру, чтобы слезы лить,
 Покуда там, где нынче сохнут мели,
 Не выступит вода из берегов.

(Все простолюдины уходят)

Вот низкопробный и размяк металл,
 Они бегут, вину признать не смея.
 Ты прямо к Капитолию ступай,
 А я пойду кругом; венки со статуей,
 Где их ни встретим, надобно срывать.

Марулл

А это можно?
 Сам знаешь – нынче праздник Луперкалий.

Флавий

Он тут причем? На статуях не должно
 Висеть трофеям Цезаря! Пойду-ка
 Гнать с улиц по домам простонародье,
 И ты гони, коль видишь где толпу.
 Мы Цезарю повыщипаем перья,
 И будет он летать как все другие,
 Не то взлетит – и взглядом не достанешь,
 А нас в рабов дрожащих обратит.
 (Уходят.)

Сцена II

Площадь

Под музыку появляется процессия, в которой идут Цезарь, Антоний, участники состязания по бегу, Кальфурния, Порция, Деций, Цицерон, Брут, Кассий и Каска. За ними толпа, в ней прорицатель.

Цезарь

Кальфурния?

Каска

Молчать! Речь держит Цезарь!
 (Музыка умолкает.)

Цезарь

Кальфурния!

Кальфурния

Мой господин, я тут.

Цезарь

Ты прегради Антонию дорогу,
Когда он пустится бежать. Антоний!

Антоний

Что, повелитель?

Цезарь

Ты на бегу не забудь, Антоний,
Кальфурнию задеть. Вещают старцы,
Что если на священном состязаньи
Бегун рукой бесплодного коснется,
Заклятие спадет.

Антоний

Не забуду.
Что Цезарь скажет, сделает Антоний.

Цезарь

Так начинайте, как велит обычай.

(Фанфары.)

Прорицатель

Цезарь!

Цезарь

Кто меня зовет?

Каска

Пусть будет тихо. Прекратите шум!

Цезарь

Кто обратился из толпы ко мне?
Сквозь музыку я слышал возглас: Цезарь!
Откройся! Цезарь слушает тебя.

Прорицатель

Тебе сулят худое Иды марта!

Цезарь

Кто этот человек?

Брут

Он прорицатель.
Он в Иды марта ждать велит худого.

Цезарь

Пусть подойдет, я гляну на него.

Кассий

А ну-ка подойди сюда любезный.

Цезарь

Что скажешь ты теперь? Начни сначала.

Прорицатель

Тебе сулят худое Иды марта!

Цезарь

Он помешался! Пусть его! Пошли!

(Трубы. Уходят все, кроме Брута и Кассия.)

Кассий

Ты не идешь смотреть на состязанье?

Брут

Отнюдь

Кассий

Прошу тебя, пойдем.

Брут

Я не забавник, мне недостает
Веселости Антония. Однако,
Тебе помехой, Кассий, я не буду
И ухожу.

Кассий

Брут, за тобой давно я наблюдаю,
Но доброты, всегда тебе присущей
И прежнего радушия не вижу.
Ты даришь только сдержанность и сухость
Всем сердцем преданному другу.

Брут

Кассий,

Ты заблуждаешься: я прячу взоры
Лишь оттого, что устремляю их
Внутрь себя. С недавних пор я мучусь
Противоборством слишком разных чувств
Меня касающихся одного,
Что, видимо, сказалось в обхождении.
Но огорчаться не должны друзья
И Кассий в их числе, и объяснять
Мою небрежность иначе как тем,
Что бедный Брут, с самим собой сражаясь,
Забыл выказывать приязнь к другим.

Кассий

Выходит, Брут, что я в тебе ошибся,
И оттого лишь сохранил в груди
Свои раздумья и свои догадки.
Ты можешь, Брут, узреть свое лицо?

Брут

Нет, Кассий, мы себя не видим сами,
И видим только наши отраженья.

Кассий

Вот именно!
Немалое число людей скорбит,
Что нет у Брута зеркала, в котором
Заметит он достоинства свои
И сам себя увидит. Я слышал
Об этом от весьма почтенных лиц, –
Бессмертный Цезарь в их число не входит, –
Которые влача вериги века,
Хотели, чтобы Брут обрел глаза.

Брут

На сколь опасный путь ты тянешь, Кассий,
Когда велишь отыскивать в себе
То, что во мне отсутствует?

Кассий

Любезный Брут, сперва меня послушай.
Ты согласился, что себя ты знаешь
По отраженьям, так позволь же мне
Быть зеркалом твоим, и ты увидишь
Все то, чего в себе не знаешь сам.
И ты во мне не должен сомневаться!
Глумись я над другими, расточай
Признанья в вечной дружбе первым встречным,
Узнай ты вдруг, что я кому-то льщу,
Душу его в объятиях, и тут же
О нем злословлю, или обнаружь,

Что протекают дни мои в пирушках
Со всяким сбродом, – дело бы другое!

(Слышны фанфары и крики.)

Брут

Что там за крик? Боюсь, как бы корону
Не предложили Цезарю.

Кассий

Боишься?

Ты, Брут, выходит, этого не хочешь?

Брут

Нет, Кассий, хоть люблю его всем сердцем.
Но для чего меня ты задержал?
Что ты намеревался мне доверить?
Коль скоро речь идет об общем благе
И нужно выбрать смерть или бесчестье,
Я не колеблюсь, Да пребудут боги
Ко мне столь благостны, насколько честь
В моих стремленьях выше страха смерти.

Кассий

Твое служенье чести мне известно
Ничуть не хуже, чем твоя наружность.
Вот и хочу я говорить о чести.
Не знаю, что о нашей жизни скажут
Другие люди, что считаешь ты,
Но я скорей готов не жить совсем,
Чем жить, дрожа перед себе подобным,
Я, как и Цезарь, родился свободным.
Ты также. Как ему нужна нам пища
И как ему нам холодно зимой.
Однажды, в ветреный, промозглый день,
Когда ярился Тибр, вздымая волны,
Сказал мне Цезарь: Ты дерзнул бы, Кассий,
Со мной войти в разгневанный поток
И плыть дотуда? Стоило сказать,

Как был одетый, я нырнул и крикнул:
 «Плыви за мной», и, вправду, он поплыл.
 Река ревела, мы ее хлестали
 Всей силой мускулов, одолевая
 В упорном споре бурное течение.
 Но прежде чем мы добрались до цели,
 Он крикнул: «Кассий, помоги, тону!»
 И, как Эней, наш прародитель, вынес
 Анхиза, старца, из горящей Трои,
 Так вынес я из яростного Тибра
 Измученного Цезаря, а ныне
 Стал богом этот человек, а Кассий –
 Ничтожество, и должен спину гнуть,
 Когда ему кивнет небрежно Цезарь.
 В Испании схватил он лихорадку,
 И я во время приступа увидел
 Как он дрожит. Да, этот бог дрожал!
 Сбежала краска с оробевших губ,
 И взор, который мир приводит в трепет,
 Вдруг помутнел. Я слышал, как он стонет.
 Язык, прельстивший Рим, кому внимают
 Стараясь записать его реченья,
 Увы, лишь лепетал: попить Титиний,
 Как хилая девченка. И не странно,
 Что этот слабый человек вознесся
 Над целым миром, и один над всеми
 Возвысился?

(Слышны крики и фанфары.)

Брут

Они опять кричат!
 Я убежден, что это рукоплещут
 Вновь Цезаря венчающим наградам.

Кассий

Он, как колосс, легко переступает
 Тщедушный мир, и, жалкие людишки,
 Мы жмемся у его огромных ног,
 Желая разве что бесславной смерти.
 Сам человек вершит свою судьбу!

Бесценный Брут, мы, а не наши звезды,
 Повинны, что мы стали мелкой сошкой.
 Брут или Цезарь? Что он, этот Цезарь?
 Чем это имя громче твоего?
 Пиши их рядом – и твое не хуже,
 Произнеси – и оба выйдут складно,
 Взвесь – одинаковые, кликни духов –
 И Цезарю и Бруту отзовутся.
 Тогда, во имя всех богов, скажи,
 Какую пищу потребляет Цезарь,
 Что быстро так растет? Бесстыжий век!
 Рим, ты рождать мужей уже не в силах!
 Когда со дней потопа прославляли
 Все люди одного лишь человека?
 Кто мог досель сказать, что в целом Риме
 Отыщешь одного лишь человека?
 А ныне в Риме так. И он не тесен
 Единственному ныне человеку.
 А от отцов мы слыхивали оба,
 Что в Риме некий Брут в былые годы
 Мог помириться с дьяволом скорее,
 Чем потерпеть царя.

Брут

Я верю, Кассий, что меня ты любишь,
 Могу понять и то, к чему ты клонишь,
 Но и об этом и о наших днях
 Скажу тебе позднее, а сегодня
 Я умоляю, не печаль меня
 Дальнейшими расспросами. Я знаю,
 Что ты сказал, и что добавить хочешь,
 Я выслушаю, но подыщем время
 Пригодное для столь серьезных дел.
 Покуда же и тем ты будь доволен,
 Что Брут скорей согласен жить в деревне,
 Чем оставаться римлянином в пору
 Обременительного лихолетья
 Напавшего на нас.

Кассий

Я рад, что словом
Сумел из сердца Брута высечь искру.

Брут

Бег завершен. Идет обратно Цезарь.

Кассий

Придут, – ты дерни Каску за рукав,
И на свой желчный лад он нам расскажет
Что было важного на состязанье.

(Возвращается Цезарь со свитой.)

Брут

Я так и сделаю, но погляди:
Взъяренный Цезарь весь в багровых пятнах
И как рабы, которых посекли,
Все прочие. Кальфурния бледна,
У Цицерона пышащего гневом
Горят глаза – таким его мы знаем,
Когда ему в сенате прекословят.

Кассий

Нам Каска растолкует в чем тут дело.

Цезарь

Антоний!

Антоний

Цезарь?

Цезарь

Вокруг меня должны быть толстяки,
Длинноволосые, с хорошим сном,

А этот Кассий, тощий и голодный,
Он рассуждает, стало быть опасен.

Антоний

Не бойся, Цезарь, Кассий не опасен.
Он честен и вполне благонадежен.

Цезарь

Я не боюсь, но пусть он потолстеет.
А только если я знавал бы страх,
Никто бы не казался мне страшнее,
Чем этот тощий Кассий. Он читает,
Он зорек, он дотошен, он доходит
До сути дел людских. Он равнодушен
К игре, – совсем не так, как ты, Антоний.
Он музыки не любит. Крайне редко
Он улыбается, а улыбнется –
Иль над собой, иль сам себя кляня
За то, что мог чему-то улыбнуться.
Такие люди плохо переносят
Существование тех, кто выше их,
И потому они весьма опасны.
Я говорю о том, кого страшиться,
А не кого страшусь. Я – всюду Цезарь.
Ступай-ка справа, – глуховат я слева, –
И расскажи, кем ты его считаешь.

(Трубы. Цезарь и вся его свита, кроме Каски, уходит.)

Каска

Ты за тогу меня потянул, – что-то сказать хочешь?

Брут

Да, Каска, скажи, что сегодня такого стряслось, что Цезарь
приуныл.

Каска

А зачем? Ты же был при нем, или ты не был?

Брут

Я бы тогда не выспрашивал у Каски, что случилось

Каска

Так вот, ему преподнесли корону, и когда ему ее преподносили, он ее отстранил ладонью, вот так: и тут народ завопил от восторга.

Брут

А что еще был за крик?

Каска

Такой же точно.

Кассий

Но кричали трижды, а в конце что был за крик?

Каска

Опять то же самое.

Брут

Так ему трижды предлагали корону?

Каска

Да, подумать только, три раза, и он три раза ее отвергал, становясь, впрочем, раз от разу более покладистым. Но всякий раз мои честные соседи вопили.

Кассий

Кто преподнес ему корону?

Каска

Как кто? Антоний.

Брут

Расскажи, пожалуйста, Каска, как это все происходило.

Каска

Можете меня повесить, но мне не рассказать. Просто они дурака валяли, я и внимания не обращал. Я вижу, Марк Антоний преподносит ему корону. Да это даже и не корона была, а какой-то веночек. И он, стало быть, ее сразу оттолкнул, но, при всем том, я подумал, что ему не очень хотелось это делать. Тогда тот ему опять ее предложил, и он опять ее оттолкнул, но, по-моему, не очень он охотно выпускал ее из пальцев. И тогда тот предложил ему ее в третий раз, и он в третий раз ее отверг. И когда отвергал, весь этот сброд улюлюкал, хлопал натруженными ладошами, швырял вверх свои пропотевшие ночные колпаки и выпускал из легких столько вони по случаю того, что Цезарь отказался от короны, что Цезарь едва не задохся: ему стало дурно и он упал. Что до меня, то я не смеялся только потому, что не смел разинуть рот, чтобы не наглотаться смердящего духа.

Кассий

Погоди, прошу тебя, – Цезарю стало дурно?

Каска

Он упал на рыночной площади, изо рта у него пошла пена, и он ни слова не мог вымолвить.

Брут

Это похоже, – у него ведь падучая.

Кассий

Нет у него падучей! Ты, и я
И честный Каска, – мы больны падучей.

Каска

Не знаю, что ты имеешь в виду, но я точно знаю, что Цезарь упал. Если этот подлый сброд ему не хлопал, когда он им нравился, и не свистел, когда он им не нравился, как они это делают с актерами в театре, не считайте меня честным человеком.

Брут

А что он сказал, когда пришел в себя?

Каска

Вот ведь как было, – еще прежде, чем упасть, когда до него дошло, что все это стадо радуется его отказу от короны, он вцепился в меня, распахнул тунику, и сказал, что не прочь, чтобы они перерезали ему глотку. Будь я человеком дела, я бы поймал его на слове, хоть и мог бы угодить в ад вместе с разбойниками. И тут он упал. Когда же отошел, он заявил, что если он сделал или сказал что-нибудь худое, то просит снизить к его болезненному состоянию. Три, а может четыре, девки рядом со мной заорали: «О, добрая душа!» и сразу его простили. Но о них и говорить нечего: прирежь Цезарь их матерей, они поступили бы точно также.

Брут

После этого он и стал таким угрюмым?

Каска

Да.

Кассий

А Цицерон что-нибудь говорил?

Каска

Да, он говорил по-гречески.

Кассий

Что же он сказал?

Каска

Ну, нет! Если я смогу это тебе передать, пусть я тебя никогда больше не увижу. Кто его понимал, пересмеивались и качали головами, что же до меня, я знаю только, что это был греческий язык. Могу вам сообщить еще кое-что новенькое: Маруллу и Флавию после того, как они срывали венки со статуй Цезаря, приходится помалкивать. Будьте здоровы. Много еще было всякой чепухи, только я не упомянул.

Кассий

Может, ты у меня сегодня поужинаешь, Каска?

Каска

Не выйдет, я уже обещал быть.

Кассий

А не хочешь завтра со мной пообедать?

Каска

Отчего же, если доживу, а ты не забудешь, и твой обед будет стоить того, чтобы за него приняться.

Кассий

Ладно, я тебя жду.

Каска

Именно так. Будьте оба здоровы.

(Уходит.)

Брут

Как он отяжелел! А он был бойкий,
Когда учился в школе.

Кассий

Он поныне
С любимым опасным делом совладеет,
Хотя на вид и стал неповоротлив.
А грубоватость – соус к здоровой мысли,
С которым человеческий желудок
Его слова скорее переварит.

Брут

Возможно. Мне теперь пора домой.
Коль хочешь завтра продолжать беседу,
Я навещу тебя, а если хочешь,
Сам приходи ко мне, – я буду ждать.

Кассий

Приду. А ты о Риме поразмысли!

(Брут уходит.)

Ты благороден, Брут, однако можно
И благородный отвратить металл
От склонностей; вот благородным людям
И следует держаться благородных.
Кто столь устойчив, что не совратится?
Меня не терпит Цезарь, Брута любит,
Но будь он Кассием, и стань я Брутом,
Я не подлажусь к Цезарю. Сегодня
Через окно я ночью Бруту брошу
Записки будто бы от разных граждан,
Где возлагаться будут на него
Надежды Рима, и где намекнут,
На то, что Цезарь чересчур тщеславен.
А Цезарь может упиваться властью, –
Его мы свалим, или быть несчастью!

(Уходит.)

Сцена III

Улица.

Гром и молния. С противоположных стороны появляются Каска с обнаженным мечем в руке и Цицерон.

Цицерон

Привет, почтенный Каска. Цезарь дома?
С чего ты запыхался? Чем взволнован?

Каска

Побудь спокойным, если вся земля
Трясется как тростинка! Цицерон,
Я видел бури, видел буйный ветер,
Валивший мощные дубы, я видел,
Как в ярости вздымался океан,
Достать стараясь до нависшей тучи;
Но никогда до этой страшной ночи
Не видел бури с огненным дождем.
На небесах гражданская война!
А, может быть, не в меру мир был дерзок,
И вынудил богов его разрушить?

Цицерон

А ты еще приметил чудеса?

Каска

У одного раба, — его ты знаешь, —
Рука внезапно вспыхнула пылая,
Как двадцать факелов, а невредима,
Как будто нечувствительна к огню.
Затем, — с тех пор меча в ножны не прячу, —
Близ Капитолия я встретил льва,
Который оглядел меня, обнюхал,
И мрачно прочь пошел; потом я встретил
До ста от страха побелевших женщин,

Которые клялись мне, что видали
Как шли куда-то огненные люди.
А давеча ночная птица села
Средь бела дня на рыночную площадь,
Крича и клекоча. А раз все это
Случилось сразу, пусть не уверяют,
Что есть на то причины, и плоды их
Естественны. Я знаю, это к худу
Для той страны, где это происходит.

Цицерон

Действительно, со странностями время.
Но люди, на свой лад толкуя вещи,
Значения самих вещей не видят,
Придет ли Цезарь завтра в Капитолий?

Каска

Придет, – уже к тебе Антоний послан,
Дабы сказать, что он там будет завтра.

Цицерон

Спокойной ночи, Каска! Небо в тучах, –
Не до прогулок.

Каска

Цицерон, будь счастлив!

(Цицерон уходит.)

Появляется Кассий.

Кассий

Кто здесь?

Каска

Я римлянин.

Кассий

Твой голос, Каска!

Каска

Твой слух не лжет. Ах, Кассий, что за ночь!

Кассий

Для честных римлян эта ночь прекрасна.

Каска

Кто ожидал, что небо так взъерится?

Кассий

Любой, кто видел сколь земля порочна,
Что до меня, то я ходил по Риму,
Спеша отдаться страной этой ночи,
И, как ты видишь, Каска, добровольно
Распахивая грудь навстречу грому;
Когда разили стрелы синих молний
Грудь небесам я подставлял свою,
Чтобы они меня верней разили.

Каска

Но для чего ты искушаешь небо?
Пристало человеку трепетать,
Когда ему ниспосылают боги
Губительные предзнаменования!

Кассий

Ты, Каска, развалился. Пламень жизни,
Который должен в римлянах пылать,
В тебе погас. Ты бледен, и растерян
И весь дрожишь, робея перед чудом,
Сокрытым в странном возбуждении неба.
Но если бы ты впрямь стал разбираться
Откуда призраки, откуда пламя,

Откуда странности зверей и птиц,
 Откуда в старцах прыть и хитрость в детях,
 Откуда коренные перемены
 В природных свойствах; призванные ныне
 Нас обратить в уродливых чудовищ,
 Ты понял бы, что небо их наслало,
 Решив предостеречь и утратить
 Одно чудовищное государство.
 Мы точно также знаем человека
 Подобного ужасной этой ночи,
 Что громы мечет, молнией сверкает,
 Могилы разверзает и рычит,
 Как мог бы лев, проникший в Капитолий.
 Сам по себе ничуть он не сильнее
 Тебя или меня, но непомерно
 Возрос и стал, как наваждение, грозен.

Каска

Ты разумеешь Цезаря, не так ли?

Кассий

Не в этом дело: римляне поныне
 И телом и лицом подобны предкам,
 Но, – горе! – нет в нас гения отцов,
 Лишь материнский дух владеет нами,
 Терпенье нас преобразило в женщин.

Каска

Недаром говорят, – они в сенате
 Объявят завтра Цезаря царем,
 И, вне Италии, носить корону
 Он будет впредь на суше и на море.

Кассий

Тогда я знаю, что с кинжалом делать:
 Избавит Кассий Кассия от рабства.
 Вы, боги, придадите слабым силы,
 Вы, боги, ниспровергнете тиранов!
 Ни каменными стенами, ни пыткой,

Ни подземельями, ни кандалами,
 Не сокрушить вовеки силу духа,
 Но жизни, изведясь в земных преградах,
 Всегда дано от них освободиться.
 Раз это знаю я, пусть знают все,
 Что сбросить собственную долю рабства
 Я, коль хочу, могу.

Каска

И я могу;
 И есть в руках у каждого раба
 Возможность со своим покончить рабством.

Кассий

Зачем же Цезарь хочет быть тираном?
 Несчастный, хоть и рад не быть он волком,
 Да только видит: римляне – бараны;
 Будь мы не лани, он бы не был львом,
 Тот, кто спешит раздуть большое пламя
 Сперва палит солому. Что за хламом
 Стал нынче вечный город, если служит
 Лишь для того, чтоб ярче озарять
 Таковую дрянь, как Цезарь. О, несчастье,
 Куда меня ты завело? Быть может,
 Я доброхотному рабу открылся?
 Тогда придется отвечать. А, впрочем,
 Я при мече и холоден к угрозам.

Каска

Ты это Каске? Но за ним доносов
 Никто не числит. Вот моя рука,
 Чтобы соединиться на погибель
 Несчастьям Рима. Я пойду на все,
 На что пойдет другой.

Кассий

Уговорились!
 Знай, Каска, что уже я кое с кем
 Из благородно думающих римлян

Условился пойти со мной на дело
 Достойное, но связанное с риском.
 Сейчас мы с ними в портике Помпея
 Должны увидеться; столь страшной ночью
 Не погуляешь под открытым небом,
 Когда в самой природе кровь и ужас,
 Как в нашем замысле, – быть может это
 Нам будет добрым предзнаменованием.

Появляется Цинна.

Каска

Постой-ка, кто-то к нам подходит!

Кассий

Цинна!

Его я различаю по походке.
 Он – наш. Куда ты, Цинна, так спешишь?

Цинна

Тебя ищу. А кто с тобой? Метелл?

Кассий

Нет, это Каска, ныне к нам примкнувший.
 Скажи-ка, Цинна, наши ждут меня?

Цинна

Я, Каска, очень рад. Но что за ночь!
 Видали двое наших нынче диво...

Кассий

Послушай, Цинна, ждут меня?

Цинна

Да, ждут.

О, Кассий, если можешь,
Уговори и Брута к нам примкнуть.

Кассий

Не беспокойся. Вот возьми записку
И положи на преторское кресло,
Где Брут ее увидит. Эту брось
Ему в окно. И воском прилепи
Вот эту к изваянью старца Брута;
Потом сыщи нас в портике Помпея.
Постой, Требоний там? А Деций Брут?

Цинна

Все собрались, нет одного Метелла,
Который за тобой пошел к тебе.
Я поспешу снести твои записки.

Кассий

А после приходи в театр Помпея!

(Цинна уходит.)

Должны мы, Каска, нынче до рассвета
Проведать Брута; четверти на три
Уже он наш, еще одно свиданье
И, верю, будет он всецело с нами.

Каска

Его благоговейно чтит народ,
И то, что преступлением сочли бы,
Его причастность к делу, как алхимик,
Преобразить сумеет в добродетель.

Кассий

Кто он таков и что для нас он значит,
Ты понял. Но уже настала полночь,
Идем. Мы до зари разбудим Брута
И в нем тогда уверимся вполне.

(Уходят.)

АКТ II

Сцена I

Рим. Сад Брута.

Появляется Брут.

Брут

Эй, Люций, где ты?

Я не могу сообразить по звездам
Сколь близок день. Эй, Люций, я сказал!

Хотелось бы и мне спать так же крепко.

Эй, Люций, просыпайся, говорят!

Появляется Люций.

Люций

Меня ты звал, хозяин?

Брут

Пойди снеси ко мне светильник, Люций,
И чуть он разгорится, мне скажи.

Люций

Все сделаю, хозяин.

(Уходит.)

Брут

Он должен умереть: его низринуть

Хочу я не из личных побуждений,

Но ради всех. Он требует короны!

Изменится ли с ней его натура, –

Вот в чем вопрос. Когда сияет солнце,

Плодятся гады. Будем осторожны.

Дать Цезарю корону? То есть жало

С которым он, коль хочет, станет страшен?

Но ведь избыток власти страшен рознью
 Меж совестью и силой, а, признаться,
 Не помню я, чтоб Цезарь верил чувству
 Скорей, чем разуму. Но всем известно,
 Что скромность – лестница для честолюбца;
 Кто лезет вверх, к ней обращен лицом,
 А кто залез, куда ему хотелось,
 Тот лестнице показывает спину.
 И смотрит в облака, не замечая
 Ступеней, по которым забирался.
 Так Цезарь и поступит. Значит надо
 Ему препятствовать, пускай покамест
 Нет объясненья нашей неприязни
 В его делах, коль скоро, возвышаясь,
 Он даст к ней повод и преступит меру;
 Вот и сочтем его яйцом змеи,
 Которой суждено быть столь же злобной,
 Как весь змеинный род, и в скорлупе
 Раздавим гадину.

Возвращается Люций.

Люций

Светильник я зажег тебе, хозяин,
 Да на окне, пока искал кремень,
 Нашем письмо с печатью; я уверен,
 Что не было письма, когда я лег.

Брут

Ложись опять, еще не скоро утро.
 А завтра что у нас – не Иды марта?

Люций

Не знаю я, хозяин.

Брут

Взгляни на календарь и мне скажи.

Люций

Я погляжу, хозяин.

(Уходит.)

Брут

От частых молний так светло, что можно
Вполне при них читать.

(Распечатывает письмо.)

«Брут, ты заснул.
Проснись и оглянись. Неужто Рим...
Заговори, восстань и защити!
Брут, ты заснул, проснись!» Таких записок
Подбрасывали мне уже немало,
И я их подбирал. «Неужто Рим...»
Мне, вероятно, следует продолжить:
«Неужто Рим притерпится к ярму?»
Когда Тарквиний был царем объявлен,
Мой прадед выгнал прочь его из Рима.
«Заговори, восстань и защити!»
Взывать ко мне – «заговори, восстань»?
О, Рим, готов поклясться, коль придется
Тебя мне защищать, то все, что просишь
Ты сможешь получить сполна у Брута.

Люций

Четырнадцать дней марта миновало.

(Снаружи стучат.)

Брут

Отлично. Погляди, кто к нам стучится.

(Люций уходит.)

С тех пор, как подстрекать меня стал Кассий
Покончить с Цезарем, – не знаю сна,

Меж совершеньем страшного деянья
 И первым побуждением к нему
 Как бы в зловещем сне идет совет
 Живой души с орудиями смерти,
 И словно в государстве, в человеке
 Неистовствует смута.

Люций возвращается.

Люций

Хозяин, там явился брат твой, Кассий.
 Тебя он хочет видеть.

Брут

Он один?

Люций

Нет, там людей хватает.

Брут

Ты их знаешь?

Люций

Да нет, хозяин. Ежели до глаз
 Надеты шапки, ежели плащи
 Наполовину закрывают лица,
 Кого тут различишь?

Брут

Впусти их всех.

(Люций уходит.)

Они – мятежники. О, тайный сговор,
 Ты даже ночью, когда злу привольно,
 Лицо открыть стыдишься; где же днем
 Тебе сыскать такую тьму, в которой

Свой страшный лик ты скроешь? Способ верный
Его прикрыть улыбкой лицемерной.
А, коль откроешь истинный свой вид,
То не довольно будет мглы Эреба,
Чтобы тебя спасти от подозрений.

*Входят заговорщики, Кассий, Каска, Деций, Цинна, Метелл
Цимбер и Требоний.*

Кассий

Мы слишком дерзко, видимо, вломились.
Прости за беспокойство, Брут. День добрый.

Брут

Я час как встал, а бодрствовал всю ночь.
Я знаю всех, кого привел ты, Кассий?

Кассий

Всех до единого, и все они
Тебя безмерно чтут, и каждый хочет,
Чтобы и сам ты думал о себе
В согласьи с мнением самых честных римлян.
Взгляни же, вот – Требоний.

Брут

Очень рад.

Кассий

Вот Деций Брут

Брут

Я столь же рад ему.

Кассий

Вот Каска! Это – Цинна! Вот Метелл!

Брут

Я рад им всем. Какие же заботы
Вас среди ночи подняли?

Кассий

Позволь
Сказать тебе два слова.

(Брут и Кассий говорят шопотом.)

Деций

Здесь восток.
И, кажется, светает.

Каска

Нет.

Цинна

Светает,
Он прав, и эти серые разводы
Размывшие границы облаков –
Предвестники рассвета.

Каска

Согласитесь,
Что оба вы ошиблись. В эту пору,
В младое время года, солнце всходит
С той стороны, куда я меч простер,
А это будет, стало быть, южнее;
Два месяца спустя заря займется
Немного севернее, а восток
Как раз за Капитолием, вот здесь.

Брут

Давайте руки мне, все, друг за другом.

Кассий

И клятвой закрепим наш уговор.

Брут

Нет, клятвы не нужны. Когда нам мало
 Народных бед, смятенья наших душ,
 И тягот времени, давайте сразу
 В свои постели праздные вернемся;
 Пуская тиран бесчинствует, покуда
 Всех не пожрет по жребию. Но если,
 В чем я уверен, нам достанет жара
 Зажечь трусливых и в горниле гнева
 Дух женщин закалить – помимо цели
 Нужны ли нам иные побужденья
 К восстанию? Что надобно еще,
 Когда решили римляне молчать
 И не обманут? Надобны ли клятвы
 Помимо слова чести встать за честь
 И отстоять ее или погибнуть?
 Оставим клятвы трусам и жрецам,
 И лицемерам, и бессильным старцам,
 И тем, кто здравствовать желает злу, –
 Их клятвы сами породят сомненья
 В природе их намерений. Не будем
 Пятнать свою решимость и порочить
 Достоинство предпринятого дела
 Предположением, что наша верность
 Нуждалась в клятвах. В каждой капле крови
 Бегущей в жилах благородных римлян,
 Отыщут след рожденья вне закона,
 Коль скоро на ничтожную крупицу
 Они свое преступят обещанье.

Кассий

А не привлечь ли нам и Цицерона?
 Пожалуй, он охотно к нам пристанет.

Каска

Его не стоит упускать.

Цинна

Бесспорно!

Метелл

Он нам необходим. Его седины
Побудят хорошо судить о нас.
Он привлечет народ – все станут думать,
Что он своим умом нас направляет.
Наш юный пыл не бросится в глаза,
Скрываясь за его почтенным видом.

Брут

Нет, на него не стоит полагаться.
Не примет он участия в затее,
Не им затеянной.

Кассий

Не будем, значит.
Его считать.

Каска

Нет, нам он не подходит!

Деций

Падет ли кто еще, один ли Цезарь?

Кассий

Он прав. Едва ли будет хорошо,
Коль Марк Антоний, цезарев любимец,
Его переживет. Мы в нем отыщем
Опасного противника. Он сможет,
Пуская в ход все то, чем обладает,
Нам сильно повредить. Антоний должен
Пасть вместе с Цезарем.

Брут

Постой, Кай Кассий,
 По мне ты жаждешь слишком много крови.
 Сняв голову, ты рассекаешь тело,
 Убийством не вполне насытив ярость.
 Антоний был у Цезаря рукой.
 Но мы – жрецы, Кай, – мы не мясники.
 Мы против духа Цезаря восстали,
 А в духе человека крови нет.
 О, если б мы дух Цезаря низринуть
 Могли, не тронув Цезаря! Увы,
 Он кровь прольет. Поэтому, друзья,
 Сразим его бесстрашно, но не злобно,
 Сразим его как жертву божествам,
 Но не собакам бросим на съеденье.
 Сердцам прикажем мудрости набраться
 У хитрого хозяина, который
 Слуг подстрекнув к постыдному деянью
 Для вида их потом бранит. Покажем,
 Что нами движет долг, а не вражда,
 Чтобы народ нас после называл
 «Освободители», а не «убийцы».
 Не должен нас тревожить Марк Антоний:
 Когда лишится Цезарь головы,
 Его рука нам не страшна.

Кассий

И все же,
 Боюсь, настолько Цезаря он любит,..

Брут

Ах, милый Кассий, брось гадать об этом!
 Пусть любит, пусть над Цезарем рыдает,
 Пускай иссохнет и умрет в тоске, –
 Такого можно ждать. И то едва ли, –
 Он слишком любит игры и пиры.

Тут положитесь на меня,
Я знаю, как к нему приноровиться,
И я его доставлю в Капитолий.

Кассий

Вот именно! Мы все за ним пойдем.

Брут

К восьми часам, давайте, не позднее.

Цинна

Да, не позднее и без опозданий.

Метелл

На Цезаря в обиде Кай Лигарий, –
Ему досталось за хвалы Помпею.
Мне странно, что никто о нем не вспомнил.

Брут

А ты к нему наведайся, Метелл,
Меня он любит и не без причины.
Пуускай зайдет ко мне, мы с ним поладим.

Кассий

Светает. Брут, прощай. Пора идти.
Пусть каждый помнит, что он говорил –
Себя покажем гражданами Рима.

Брут

Друзья, старайтесь выглядеть бодрее,
Дабы и взором замысел не выдать;
Свершим его, как римские актеры,
С незнающим усталости порывом
И безупречной точностью. Прощайте.

(Все, кроме Брута, уходят).

Эй, Люций! Снова спит? Ну, что же, спи,
Впивай медвяную росу дремоты.
В твоём мозгу заботы не плодят
Ни призрачных фигур, ни странных ликов,
Вот ты и дремлешь безмятежно.

Входит Порция.

Порция

Брут!

Брут

Куда ты, Порция? Зачем ты встала?
Нельзя с твоим здоровьем доверяться
Сырому и холодному рассвету.

Порция

Но и с твоим нельзя, а ты меня
Одну в постели бросил. А вчера
За ужином вдруг встал и, размышляя,
Ходил, скрестивши руки, и вздыхал.
Когда же я спросила, что стряслось,
Ты на меня уставился сурово.
Я не отстала; за голову взявшись,
Ты топнул в нетерпении ногой.
Хоть я стояла на своем, – ответа
Не дождалась, – ты лишь рукой махнул
Чтоб я не приставала. Я ушла,
Боясь еще сильнее распалить
Твой буйный гнев, и без того пылавший.
Решила я, что просто ты не в духе, –
Порой такое происходит с каждым.
Но ты не ешь, не спишь, не говоришь,
И если бы твой облик изменился
Согласно с тем, как изменился нрав,
Я не узнала бы тебя. Супруг мой,
Открой мне, что случилась за беда.

Брут

Я, как ты видишь, болен, вот и все.

Порция

Но Брут благоразумен, – будь он болен,
Он стал бы избавляться от болезни.

Брут

Я и стараюсь. Порция, ты ляг.

Порция

Брут нездоров – но разве для здоровья
Полезно распахнуться и вдыхать
Рассветные пары? Брут нездоров –
И он спешит с целительной постели
Навстречу ядовитой скверне ночи,
В надежде, что сырой, промозглый воздух
Усугубит его болезнь? Нет, Брут,
Больна твой душа, и я по праву
И положению, желаю знать,
Что с ней и что с тобой. И на коленях,
Твоими увереньями в любви,
Своей былой красотой и тем обетом,
Который сделал нас единой плотью,
Тебя я заклинаю, мне, жене,
Твоей жене, твоей же половине,
Открыть, чем ты смятен и что за люди
Средь ночи приходили. Тут их было
Шесть или семь, Они во тьме крошечной
Лиц не открыли.

Брут

Милая, не надо
Колени преклонять.

Порция

Нужды не станет,
 Коль будешь милостив. Скажи мне, Брут,
 Быть может, в нашем брачном договоре
 Есть оговорка, что твои секреты
 Не надлежит мне знать? Выходит, значит,
 Мой долг, держась в положенных пределах,
 С тобой делить еду, ложиться на ночь
 К тебе в постель, да, если удостоишь,
 Поддерживать беседу. Мне пристало
 Быть на окраинах твоих влечений?
 Но для тебя тогда я потаскуха,
 А не жена.

Брут

Ты верная жена.
 Я дорожу тобой, как алой влагой,
 Влачащейся в моем печальном сердце.

Порция

Будь это так, я тайну бы узнала.
 Не спорю, да, я женщина, однако,
 Я избрана была в супруги Брутом,
 Не спорю, да, я женщина, однако,
 Я почитаема, как дочь Катона.
 По твоему, не совладать с природой
 Мне даже при таких отце и муже?
 Открой мне, чем ты полон, – я не выдам.
 Сама, чтобы проверить силу духа.
 Я ранила себя в бедро, смотри, –
 И если я об этом промолчала,
 Не буду ли молчать о тайнах мужа?

Брут

О, боги, сделайте меня достойным
 Такой жены! Чу!.. Чу!.. Стучат!

(Снаружи стучат).

Покамест
Уйди-ка, Порция. Все тайны сердца
Доверю скоро я твоей груди,
И замыслы свои тебе открою,
И чем омрачено мое чело.
Ступай же, поскорей.

(Порция уходит.)

Эй, Люций, кто там?

Входят Люций и Лигарий.

Люций

Болящий хочет говорить с тобой.

Брут

Лигарий, – тот, кого назвал Метелл.
Оставь нас, мальчик. Что с тобой, Лигарий?

Лигарий

Прими привет моих бессильных уст.

Брут

Неладный час ты выбрал, Кай Лигарий,
Укутаться, одолевая немочь.

Лигарий

Я немочей не знаю, если Брут
Задумал подвиг с благородной целью.

Брут

Есть подходящий замысел, Лигарий,
Коль слух твой в силах этому внимать.

Лигарий

Богами поклянусь, что пересило
 Свои недуги. Воплощенье Рима,
 Потомок благороднейшего рода,
 Ты, словно заклинатель, вызвал к жизни
 Мой умерщвленный дух. Теперь скажи
 Что делать мне, и я берусь достигнуть
 Немыслемых вещей. Скажи, что делать?

Брут

Нам надобно больным вернуть здоровье.

Лигарий

Помочь иным здоровым стать больными?

Брут

И в этом будет надобность, Лигарий.
 Все объясню тебе я по дороге
 К тому, о ком мы говорим..

Лигарий

Пошли!

Я за тобой пойду с открытым сердцем,
 Не ведая зачем. С меня довольно,
 Что Брут меня ведет.

Брут

Ступай за мной

(Уходят.)

Сцена II

Дом Цезаря

Гром и молния. Входит Цезарь в ночной рубахе.

Цезарь

Покая нет ни небу, ни земле:
Кальфурния три раза просыпалась,
Вопя: «Спасите Цезаря! На помощь!
Они его убьют!» Эй, кто-нибудь!

Входит слуга.

Слуга

Что приказать изволишь?

Цезарь

Скажи жрецам, пускай приносят жертву
И растолкуют, что сулят нам боги.

Слуга

Исполню все, хозяин.

(Уходит.)

Входит Кальфурния

Кальфурния

Неужто, Цезарь, ты идти намерен?
Не стоит нынче выходить из дому.

Цезарь

А Цезарь выйдет. Всякая опасность
Грозит мне в спину, стоит ей увидеть
Мое лицо, – и нет ее в помине.

Кальфурния

Я никогда не верила приметам,
А ныне я боюсь. Я сверх того,
Что видели мы сами нынче ночью,

Узнала страшные рассказы стражи.
 На улице-то оценилась львица,
 А из могил вставали мертвецы,
 И огненные воины по тучам
 Шли друг на друга в боевом строю
 И с неба кровь лилась на Капитолий.
 Был воздух весь пронизан шумом битвы,
 Стенаньем раненых и конским ржаньем.
 На улицах визжали привиденья.
 О, Цезарь, это все непостижимо,
 И я боюсь.

Цезарь

Возможно ль уклониться
 От предначертанного нам богами?
 Пойду! – Счесть эти знаменья своими
 Могла бы вся земля, равно как Цезарь.

Кальфурния

Бедняк помрет, не вызвав и кометы,
 А смерть монарха разверзает небо.

Цезарь

Трус умирает много раз при жизни,
 Один лишь раз встречает смерть отважный.
 Меж странностей земных я самым странным
 Считаю страх, с каким встречают люди
 Конец свой неизбежный – срок придет
 И смерть придет.

(Слуга возвращается.)

Что говорят авгуры?

Слуга

Велят тебе не выходить из дома.
 Когда авгуры потрошили жертву,
 У ней в груди не оказалось сердца.

Цезарь

Желают боги опозорить труса:
Созданием без сердца был бы Цезарь,
Когда бы выйти из дому боялся.
Но Цезарь не таков. Опасность знает
Насколько Цезарь для нее опасен.
Мы двое львов рожденных в одночасье.
Я старше и страшнее. Я пойду.

Кальфурния

Увы, мой господин. Тебе затмила
Твоя самонадеянность рассудок.
Не выходи. Скажи, жена боится.
И просит нынче оставаться дома.
Давай, пошлем Антония в сенат.
Пусть объяснит, что ты сегодня болен.
Позволь, я умоляю на коленях.

Цезарь

Пускай, пожалуй, скажут, что я болен,
Тебе в угоду я готов остаться.

Входит Деций.

А вот и Деций, – он там все и скажет.

Деций

День добрый, Цезарь! Здравствуй, мудрый Цезарь!
Пришел я проводить тебя в сенат.

Цезарь

Ты очень кстати, чтобы передать
Сенаторам мое благоволение
И объявить, что нынче я не буду.
Я быть не в силах? – Ложь. Не смею? – Ложь.
Я просто не приду, так и скажи.

Кальфурния

Скажи, он болен.

Цезарь

Чтобы Цезарь лгал?
Затем ли я простер победно длань
На целый мир, чтобы бояться правды?
Скажи им, Деций, Цезарь не придет.

Деций

Но, мудрый Цезарь, объяви хоть повод,
Чтобы они меня не осмеяли.

Цезарь

Я не желаю этого, – вот повод,
Которого довольно для сената;
Что ж до тебя, то я тебя люблю
И объясню: меня моя жена
Кальфурния удерживает дома.
Ей снилось, что из статуи моей
Сквозь сотни скважин, словно из фонтана,
Струилась кровь, и римляне ликуя
Вокруг толпились, в ней купая руки.
Жена сочла свой странный сон предвестьем
Неотвратимых бед, и на коленях
Меня молила оставаться дома.

Деций

Прости, но сон неверно истолкован,
А он счастливый и сулит добро:
Из статуи твоей струилась кровь,
В которой римляне смеясь купались, –
То значит: чрез тебя впитает Рим
Живительные соки, цвет которых
У всех достойных римлян обратится
В предмет почтения и знак почета.
Вот сон Кальфурнии о чем вещает!

Цезарь

Недурно ты его истолковал.

Деций

Увидишь сам, коль выслушать захочешь,
 Что я еще скажу: сенат решил
 Сегодня Цезарю надеть корону.
 Пошлешь сказать, что нынче не придешь, –
 Глядишь, раздумают. А кто-нибудь
 Еще в насмешку бросит: «Пусть сенат
 О Цезаре отложит попеченье
 До дня, когда Кальфурнии приснится
 Приятный сон». Коль прятаться ты станешь,
 Начнется шопот: «Вот и Цезарь трусит!»
 Прости, но так посмел я говорить
 Единственно для твоего же блага, –
 Виной всему моя любовь к тебе.

Цезарь

Кальфурния, смотри, как неразумны
 Твои бессмысленные страхи. Стыдно,
 Что я им сам чуть было не поддался.
 Подайте мне одеться. Я пойду.

Входят Публий, Брут, Лигарий, Метелл, Каска, Требоний и Цинна.

Решил и Публий проводить меня!

Публий

День добрый, Цезарь!

Цезарь

Здравствуй, здравствуй, Публий.
 Глядите, – Брут. Ты встал в такую рань?
 День добрый, Каска. Слушай-ка, Лигарий,
 Не так и Цезарь был к тебе суров,

Как иссушившая тебя горячка.
Который час?

Брут

Недавно было восемь.

Цезарь

Я благодарен всем вам за вниманье.

Входит Антоний

Антоний, как всегда, кутил всю ночь,
А все же встал. Привет тебе, Антоний.

Антоний

И доблестному Цезарю привет.

Цезарь

Пусть подадут, что надо. Мне неловко,
Что я вас вынуждаю ждать. Что, Цинна?
Как ты, Метелл? А нам с тобой, Требоний,
Найдется кой о чем потолковать,
Ты не забудь потом зайти ко мне,
Да будь поближе, чтобы нам напомнить.

Требоний

Я буду близко.

(В сторону)

Только пожалеют
Твои друзья зачем я не был дальше.

Цезарь

Друзья, прошу вас, выпейте со мной,
И выйдем вместе добрыми друзьями.

Брут (в сторону)

Оно не так получится, о, Цезарь,
И Бруту эта мысль сдает сердце.

(Уходят.)

Сцена III

Улица вблизи Капитолия

Читая записку, появляется Артемидор.

Артемидор

Цезарь, остерегайся Брута, не доверяй Кассию, сторонись Каски, держи ухо остро с Цинной, не полагайся на Требония, не упускай из вида Метелла Цимбера; Деций Брут тебя не любит; Кая Лигария ты обидел. У всех у них один умысел, и они стакнулись против Цезаря. Если ты не бессмертен, приглядывай за ними. Уверенность в себе поощряет заговор. Да сохранят тебя всемогущие боги.

Твой друг Артемидор.

Здесь подожду, пока пройдет он мимо,
И как проситель протяну записку.
Мне душу гложет мысль, что добродетель
Завистники извечно рвут зубами.
Прочтешь, – так сможешь, Цезарь, жизнь спасти,
А нет, – судьбе с изменой по пути!

(Уходит.)

Сцена IV

Другая часть той же улицы, перед домом Брута.

Входят Порция и Люций.

Порция

Молю тебя, беги скорей к сенату.
 Ни слова мне не говори, беги!
 Что ж ты стоишь?

Люций

А для чего бежать?

Порция

Желала я, чтоб ты уже вернулся,
 Покамест я сумею объяснить.
 О, мужество, не покидай меня!
 Воздвигни вал меж сердцем и губами!
 Как жить с мужской душой и женской силой?
 Нет, тайну женщине хранить невмочь.
 Еще ты здесь?

Люций

Я приказанья жду.
 Бежать ли мне к сенату просто так?
 И воротиться, ничего не сделав?

Порция

Да, ты взгляни, как выглядит хозяин, –
 Он нездоров; и заодно приметь
 Чем занят Цезарь, кто к нему пробился.
 Стой, что за шум?

Люций

Не слышу, госпожа.

Порция

Прислушайся, – похоже, что дерутся.
 И с Капитолия весь этот гул!

Люций

Я, право слово, госпожа, не слышу.

Входит прорицатель.

Порция

Эй, подойди! Откуда ты пришел?

Прорицатель

Из собственного дома, госпожа.

Порция

Который пробил час?

Прорицатель

Уже девятый.

Порция

Скажи, пошел ли Цезарь в Капитолий?

Прорицатель

Покуда нет. Я для того и вышел,
Чтобы взглянуть, как он туда пойдет.

Порция

Должно быть, у тебя к нему есть дело?

Прорицатель

Да, госпожа, коль к Цезарю участие
Проявит Цезарь, слух ко мне склонив,
Я попрошу его быть осторожной.

Порция

Ты знаешь, что ему грозит опасность?

Прорицатель

Сам не пойму, однако, опасаясь.
Прощай. Тут улица совсем узка, –
Пойдет по ней за Цезарем толпа
Сенаторов, и преторов и прочих,
Глядишь, совсем задавят старика.
Я поищу местечко попросторней,
Где к Цезарю способней обратиться.

(Уходит.)

Порция

Вернусь-ка я домой. И до чего же
Ты хрупко, сердце женское. О, Брут,
Да снизойдут к твоим желаньям боги!
Ты слышал, мальчик: согласиться с Брутом
Не хочет Цезарь. Я едва стою.
С поклоном, Люций, отправляйся к мужу,
Скажи, что я бодра, и возвращайся
Мне рассказать, что он тебе сказал.

(Уходят порознь.)

АКТ III

Сцена I

Рим. У Капитолия; вверху заседают сенаторы.

В толпе Артемидор и прорицатель. Трубят. Входят Цезарь, Брут, Кассий, Каска, Деций, Метелл, Требоний, Цинна, Антоний, Лепид, Попилий, Публий и другие.

Цезарь (прорицателю)

Настали Иды марта!

Прорицатель

 Так-то так,
Да не прошли покамест.

Артемидор

 Здравствуй, Цезарь,
Прочти мое прошение!

Деций

 Требоний
Просил о том же, – чтобы на досуге
Ты ознакомился с его прошеньем.

Артемидор

Читай сперва мое, великий Цезарь,
Тебе в нем есть нужда. Читай скорее!

Цезарь

Своей нужде черед придет последним.

Артемидор

Не мешкай, Цезарь, начинай читать.

Цезарь

Он спятил, что ли?

Публий

Прочь пошел, болван!

Цезарь

Что ж это вы на улице с делами?
Входите в Капитолий!

*Цезарь входит в помещение сената, прочие следуют за ним.
Сенаторы встают.*

Попилий

Хочу вам нынче пожелать успеха!

Кассий

Каково же, Попилий?

Попилий

Будь здоров!

(пробирается к Цезарю.)

Брут

Что говорит Попилий Лена?

Кассий

Желает на сегодня нам успеха,
Боюсь, что наши замыслы раскрыты.

Брут

Он устремился к Цезарю, смотри!

Кассий

Будь наготове, Каска. Мы попались.
 Брут, что нам делать? Цезарь или Кассий
 Погибнут, если заговор раскрыт, –
 Я сам себя убью.

Брут

Будь тверже, Кассий.
 Попилий сообщает не о нас.
 Глади, он улыбается, а Цезарь
 Невозмутим.

Кассий

Требоний не зевает,
 И, – погляди, – Антония уводит.

Антоний и Требоний уходят. Цезарь и сенаторы садятся.

Деций

А где Метел? Ему уже бы время
 Стопы направить к Цезарю с прошением.

Брут

Он начинает, подойдем поближе.

Цинна

Ты, Каска, первым нанесешь удар.

Цезарь

Все собрались? С каким же злом бороться
 Вновь должен Цезарь и его сенат?

Метелл

Великий, мудрый, всемогущий Цезарь,
Метел смиренно повергает сердце
К твоим стопам...

(преклоняет колени.)

Цезарь

Послушай-ка, Метелл,
Уничжение и раболопство
Волнуют кровь обыкновенным людям,
Преображая прежние решенья
В ребячью прихоть. Не воображай,
Что даст и Цезарь крови взбунтоваться
И сам размякнет перед верным средством,
Которым умиляют дураков, –
Я это об угодливых поклонах,
Собачьем пресмыкательстве и лести.
Метелл, твой брат был сослан по закону.
А станешь подло льстить, моля о нем,
Я отпихну тебя, как пса с дороги.
Знай, Цезарь справедлив, и без причины
Он не прощает.

Метелл

Найдется ль глас достойней моего
И сладостней для Цезарева слуха,
Чтобы из ссылки воротили брата?

Брут

Поверь, что я не ради лести, Цезарь,
Тебе целую руку, умоляя
О том, чтобы вернулся Публий Цимбер.

Цезарь

Да, что ты, Брут?

Кассий

Прости великодушно,
У ног твоих простершись просит Кассий
О дарованьи Публию свободы.

Цезарь

Будь я, как вы, я мог бы снизить, –
Умел бы сам просить о снисхождении,
Так снисходил бы к просьбам. Я, однако,
Недвижим, как полярная звезда,
Которой по неизбежности равной
Нет на небесной тверди. Небеса
Расцвечены несчетными огнями,
Любой пылает и сверкает каждый,
Но лишь один всегда на том же месте,
Так и земля, – она полна людей
Из плоти и из крови, со смекалкой,
Но среди них лишь одного я знаю,
Кто на своем стоит, – его не сдвинешь:
Неколебим. А то, что это я,
Понятно вам хотя бы потому,
Что Цимбера я не колеблясь выслал
И не колеблясь там его оставлю.

Цинна

О, Цезарь!

Цезарь

Хватит! Ты Олимп не сдвинешь.

Деций

Великий Цезарь...

Цезарь

Разве Брут не зря
Встал на колени?

Каска

Вы за меня!
 Говорите, руки,

(Они бросаются на Цезаря с кинжалами.)

Цезарь

Ты тоже, Брут? Так падай, Цезарь!

(Умирает.)

Цинна

Свобода! Тирания умерла!
 Кричите так на каждом перекрестке!

Кассий

Влезайте на трибуны и кричите:
 Освобождение! Свобода! Воля!

Брут

Сенаторы и граждане, не бойтесь!
 Пойдите! Мы в расчете с властолюбьем!

Каска

Брут, на трибуну!

Деций

Кассий, на трибуну!

Брут

Где Публий?

Цинна

Здесь, сбитый с толку нашим мятежом.

Метелл

Сомкнем ряды, чтобы друзья тирана
Врасплох нас не застигли...

Брут

Нам это ни к чему. Почтенный Публий,
Ничто худое не грозит тебе
И римлянам. Скажи им это, Публий.

Кассий

И уходи, не то, напав на нас,
Толпа не пощадит твои седины.

Брут

Да, уходи. За то, что совершилось,
Одни его свершившие в ответе.

Возвращается Требоний.

Кассий

А где Антоний?

Требоний

Побежал домой.
Мужчины, женщины и дети в страхе
Вопят, как будто светопреставленье.

Брут

Судьба, мы поглядим, каков твой дар.
Известно – мы умрем. И лишь о сроке
И об отсрочке хлопоты людские.

Каска

Что ж, сокративший жизнь на двадцать лет,
У страха смерти вырвет эти годы.

Брут

Коль так, выходит, смерть – благоденье,
И Цезарю, как добрые друзья,
Мы сократили время страха смерти.
Так окунем же в цезареву кровь
По локоть руки, вымажем мечи,
Отправимся на рыночную площадь,
И обагренной сталью потрясая,
Провозгласим: «Свобода! Вольность! Мир!»

Кассий

Омоемся в крови! Пройдут века,
Но вновь и вновь сыграют эту сцену
В доселе не рожденных государствах,
На неизвестных ныне языках!

Брут

Как ныне, для потехи будет Цезарь
Лежать в крови у статуи Помпея
Поверженный во прах.

Кассий

И всякий раз
Как будет так, нас будут называть
Людьми, отчизне давшими свободу.

Деций

Так мы идем?

Кассий

Да, все до одного.
 Брут впереди, и по его стопам
 Храбрейшие и лучшие из римлян.

Входит слуга.

Брут

Кто это там? Антониев приятель.

Слуга

Да, Брут, я послан преклонить колени;
 Пасть пред тобой велел мне Марк Антоний
 И, распростершись на земле, сказать: Брут
 благороден, мудр, отважен, честен, Был
 Цезарь смел, могуч, великодушен, Знай,
 Марк Антоний чтит и любит Брута, Он
 Цезаря боялся, чтил, любил.
 Коль Брут ручается, что встречи с ним
 Не должен опасаться Марк Антоний,
 Желающий доподлинно узнать,
 Чем Цезарь заслужил свое убийство,
 Антонию не будет мертвый Цезарь
 Милей живого Брута. Он всем сердцем
 Труды и участь доблестного Брута
 В нехоженных превратностях разделит
 Как равный. Так велел сказать Антоний.

Брут

Твой господин разумен и отважен.
 Я так и думал.
 Скажи ему, пускай придет сюда —
 Не пожалеет, и, ручаюсь честью,
 Уйдет свободным.

Слуга

Я схожу за ним.

(Уходит.)

Брут

Я убежден, что мы пойдем друг друга.

Кассий

Хотел бы думать так, но вот душой
Его боюсь, – а у меня доселе
Все скверные предчувствия сбывались.

Возвращается Антоний.

Брут

Вот и Антоний. Здравствуй, Марк Антоний.

Антоний

Великий Цезарь! Ты лежишь так жалко?
И все твои победы, вся добыча,
Ужались к этой малости? Прощай.
Не знаю, господа, что вы решили,
Кто должен пасть, кому грозит опасность,
Коль это я, час цезаревой смерти
Всего уместнее, и нет оружия
Пригодней для того, хоть вполовину,
Чем ваши, самой славной в мире кровью
Обильно обогранные, мечи.
Молю вас, если я вам неугоден,
Пока дымится кровью ваши руки
Насытить злость. Живи я сотни лет,
Не станет смерть мне более желанна,
Чем подле Цезаря и чем от рук,
Венчанных славой нынешнего века.

Брут

Антоний, смерти не ищи у нас.
Увидев наши руки и деянье
Содеянное нами, ты поверил,
Что мы жестоки, даром что узрел

Одни лишь руки с их кровавым делом,
 А не сердца, которые страдают.
 От сострадания к несчастьям Рима
 Пал Цезарь – клином вышибают клин,
 Не знает сострадания сострадание.
 Но для тебя у каждого из нас
 На остриях мечей – свинец, Антоний;
 А наши руки, крепкие во зле,
 И братским чувством полные сердца
 К тебе обращены с расположеньем.

Кассий

Когда дойдет до новых назначений,
 Твой голос будет наравне с другими.

Брут

Дай только время умиротворить
 Со страха обезумевшие толпы,
 И мы тебе тотчас же объясним
 Как я, любивший Цезаря всем сердцем
 И в самый миг убийства, не колеблясь
 Его убил.

Антоний

Я верю в вашу мудрость.
 Пожмите же кровавыми руками
 Мне каждый руку – первый ты, Марк Брут,
 Теперь подай мне руку ты, Кай Кассий,
 Ты, храбрый Каска, ты Метел, ты, Цинна,
 Ты, Деций Брут, ты, названный последним,
 Но не последний для меня, Требоний.
 Увы, что я могу теперь сказать?
 Я оказался на столь зыбкой почве,
 Что каждый шаг мой можно объяснить
 И жалкой трусостью и подлой лестью.
 Тебя любил я, Цезарь. Это правда.
 И если дух твой ныне видит нас,
 Не горше ли тебе и самой смерти
 То, что Антоний твой, стремясь к согласью,
 У трупа твоего твоим врагам

Жмет их замаранные кровью пальцы?
 Да лучше бы иметь мне столько глаз
 Струящих слезы, сколько у тебя
 Кровоточащих ран, чем узы дружбы
 Теперь с твоими укреплять врагами!
 Прости же, Юлий. Доблестный олень,
 Ты загнан был сюда, и здесь ты пал,
 А ловчие ославлены добычей
 И гибелью запятнаны твоей.
 Мир, ты был этому оленю лесом,
 А он и впрямь твоим был украшеньем.
 И вот, лежишь ты здесь, как зверь сраженный
 Десятком государей!

Кассий

Марк Антоний...

Антоний

Прости меня, Кай Кассий, даже враг
 Сказал бы так о Цезаре; для друга
 Я был не в меру холоден и скромн.

Кассий

В том нет беды, что Цезаря ты хвалишь,
 Но как ты понимаешь наш союз?
 Считать ли нам тебя в числе друзей,
 Иль, может, на тебя не полагаться?

Антоний

Ведь я вам руки жал, пусть в самом деле,
 Взглянув на Цезаря я потерялся, –
 Но я вам друг и всех я вас люблю,
 И вы мне, я надеюсь, объясните
 Кому и чем был так опасен Цезарь.

Брут

Иначе это было бы злодейство.
 Однако, наши доводы столь вески,

Что если б Цезарь был твоим отцом
И то бы ты их не отверг, Антоний.

Антоний

Лишь это мне и нужно. Сверх того
Позвольте тело выставить на площадь
И, как пристало истинному другу,
В надгробном слове честь ему воздать.

Брут

Изволь, Антоний.

Кассий

На два слова, Брут.

(Бруту доверительно)

Не знаешь ты, что делаешь. Не надо
Чтобы Антоний говорил над гробом.
Кто знает, как настроится народ
Послушав, что он скажет.

Брут

Не тревожься.
Сначала сам я выйду на трибуну
И объясню, за что убит был Цезарь.
Скажу о том, что с нашего согласия
Антоний будет говорить над гробом,
Что хоронить мы Цезаря решили
По всем обрядам, как велит обычай.
В том выгоды побольше, чем ущерба.

Кассий

Как знать – мне это все не по душе.

Брут

Так ты бери труп Цезаря, Антоний;
Но не порочь в надгробном слове нас,
А Цезаря хвали, как пожелаешь,
Лишь объяви, что мы того хотели.
Не то тебе не принимать участия
В его похоронах! Ты скажешь речь
С трибуны, на которую сначала
Я выйду с речью.

Антоний

Хорошо, пусть так.
Мне большего не надо.

Брут

Готовь же тело и ступай за нами.

(Уходят все, кроме Антония.)

Антоний

Прости меня кровавый ком земли,
Что я учтив и кроток с палачами.
Останки лучшего из всех людей
Существовавших до сих пор, простите.
Беда пролившим дорогую кровь!
Я предрекаю, – ибо эти раны,
Как алые безгласные уста,
Взывают, мне веля произнести
Ниспосланное мертвецом проклятье:
Неистовство и пыл гражданских распрей
Опустошат страну, войдут в обычай
Кровь, ужасы, разруха, – все они
С годами столь обыденными станут,
Что будут матери смотреть с улыбкой,
Как четвертует из детей война.
Когда жестокость станет повседневной,
Любое сострадание заглохнет;
Дух Цезаря, желающий отмщенья,
Вдвоем с Гекатой, вышедшей из ада,

Носиться будет над страной, вопя
Могучим гласом царственным: «Круши!»
И злобных псов войны с цепи спуская.
По всей земле об этом подлом деле
Пронюхают, раз человечья падаль
Останется лежать без погребенья.

Входит слуга.

Ты служишь у Октавия, не так ли?

Слуга

Да, Марк Антоний.

Антоний

Я слышал, что Цезарь
Ему писал, прося вернуться в Рим.

Слуга

Он получил письмо и скоро будет,
Покамест же просил тебе сказать...

(Замечает труп.)

О, Цезарь!...

Антоний

Ты опечален, – отойди и плачь.
Печаль прилипчива. Мои глаза,
Чуть я в твоих замечу бисер скорби,
Окутывает влага. Где Октавий?

Слуга

Он ночевал в семи верстах от Рима.

Антоний

Спешу к нему и все скажи, как есть.
 Весь Рим скорбит, но Рим весьма опасен,
 И Рим укрыть Октавия не в силах.
 Скажи ему об этом. Погоди.
 Повремени, покамест я снесу
 Покойника на площадь. На трибуне
 Мне станет ясно, как народ воспринял
 Жестокое деянье кровопийц.
 И сообразно с этим ты расскажешь
 Октавию о том, как было дело.
 А ну-ка пособи!

(Уходят, унося труп Цезаря).

Сцена II

Форум

Входят Брут и Кассий, за ними множество граждан.

Граждане

Скажите правду! Мы хотим знать правду!

Брут

Кто хочет выслушать меня, – ко мне!
 А ты ступай в другое место, Кассий,
 И часть людей веди туда с собой.
 Кто слушает меня, тот остается,
 Кто хочет слушать Кассия, уходит.
 Мы оба всем и каждому раскроем
 Причины смерти Цезаря.

Первый гражданин

Пожалуй,

Послушаю я Брута.

Второй гражданин

Я, напротив,
 Пойду послушать Кассия. А после
 Мы доводы обоих сопоставим.

(Кассий с частью граждан уходит. Брут подымается на трибуну).

Третий гражданин

Брут вышел на трибуну! Тишина!

Брут

Терпенья наберитесь!

Римляне, друзья и земляки! Послушайте меня и помолчите, чтобы вы могли слушать; поверьте мне ради моего доброго имени, и не ставьте это доброе имя под сомнение, иначе вы не сможете верить; судите меня по своему разумению, но отдайтесь этому всеми фибрами души, чтобы не совершить несправедливости. Если есть среди вас хоть один истинный друг Цезаря, я скажу ему, что Брут любил Цезаря не меньше его. А если этот друг хочет знать отчего же Брут восстал на Цезаря, я отвечу – не оттого, что я мало любил Цезаря, а оттого, что еще больше любил Рим. Лучше ли по вашему, чтобы Цезарь жил, а все прочие подыхали в рабстве, нежели, чтобы Цезарь умер, но все жили свободными. Цезарь меня любил, и я его оплакиваю; когда он преуспевал, я радовался, когда он совершал подвиги, я его восхвалял, но он пожелал быть выше всех, и я его убил. Все тут было – и слезы о его любви, и наслаждение его успехами, и хвала его подвигам, и смерть за непомерную жадность власти. Кто из вас до того опаскудел, что хочет быть рабом? Если есть такой, пусть назовется, – перед ним я виноват. Кто из вас до того отупел, что не хочет быть римлянином? Если есть такой, пусть назовется, – перед ним я виноват. Кто из вас до того испакостился, что не любит свою родину? Если есть такой, пусть назовется, – перед ним я виноват. Я помолчу и подожду ответа.

Граждане

Таких здесь нет, ни одного такого.

Брут

Значит, я пред вами не виноват. Я поступил с Цезарем, как вы вправе поступить с Брутом. Причины его смерти останутся в памяти Капитолия, его величие – там, где он был велик, – не будут замалчивать, и не будут сверх меры раздувать преступления, за которые он казнен.

Неся труп Цезаря, входят Антоний и другие.

А вот и тело покойного. Его сопровождает Марк Антоний, который хоть и непричастен к убийству, кое-что из него извлечет, заняв подобающее ему в республике место. Да и кто из вас не поступил бы точно также? Напоследок я скажу: кинжал, которым я ради блага Рима умертвил своего лучшего друга, я оставил у себя на случай, если родине понадобится и моя смерть.

Граждане

Нет, Брут, живи, ты должен жить!

Первый гражданин

Давайте

С почетом Брута доведем до дома.

Второй гражданин

Ему давайте памятник поставим,
Как предкам его ставили.

Третий гражданин

Пускай

Он станет Цезарем!

Четвертый гражданин

Что лучшим было
В покойном Цезаре, мы коронуем в Бруте!

Первый гражданин

Ликуя доведем его до дома...

Брут

Сограждане!

Второй гражданин

Потише! Слово Бруту!

Четвертый гражданин

Эй, потише!

Брут

Сограждане, позвольте мне уйти
Без проводов, а вас я попрошу
Остаться здесь с Антонием. Отдайте
Последний долг покойному, прослушав
Надгробную хвалу ему, с которой
По нашей воле выступит Антоний.
Я уйду, но вы не расходитесь,
Пока Антоний речь свою не скажет.

(Уходит.)

Первый гражданин

Послушаем, что скажет Марк Антоний.

Третий гражданин

Пускай Антоний выйдет на трибуну
Мы слушаем, Антоний, начинай.

Антоний

Благодарю вас за почтенье к Бруту.

(Поднимается за трибуну.)

Четвертый гражданин

Он что сказал про Брута?

Третий гражданин

Он сказал,
Что за почтенье к Бруту благодарен.

Четвертый гражданин

Ему не стоило порочить Брута!

Первый гражданин

Кровавым деспотом был Цезарь!

Третий гражданин

Точно!
Нам повезло – Рим от него избавлен.

Второй гражданин

Молчите. Что-то скажет Марк Антоний?

Антоний

Почтенные!

Граждане

Потише! Дайте слушать!

Антоний

Сограждане, склоните слух ко мне!
 Сюда пришел я с Цезарем проститься,
 А не хвалить его дела, – дурные
 Живут и после смерти человека,
 А добрые хоронят с бранным прахом.
 Быть посему и тут. Почтенный Брут
 Сказал, что Цезарь добивался власти.
 Коль это правда, это тяжкий грех;
 За это Цезарь тяжело поплатился.
 Но с позволения Брута и всех прочих, –
 Ведь Брут – честнейший в мире человек
 И все они достойнейшие люди, –
 Я Цезаря почту надгробным словом.
 Он был мне другом, он был добр ко мне,
 Но Брут сказал, что он стремился к власти,
 А Брут – честнейший в мире человек.
 Он захватил в сраженьях толпы пленных
 И выкупом дела казны поправил, –
 Не в этом ли сказалась жажда власти?
 Когда стенал бедняк, и Цезарь плакал,
 А жажда власти – из вещей жесточе.
 Но Брут сказал, что он стремился к власти,
 А Брут – честнейший в мире человек.
 Вы видели, во время Луперкалий
 Я трижды предлагал ему корону, –
 Он трижды отказался, – власти ради?
 Но Брут сказал, что Цезарь жаждал власти,
 А он честнейший в мире человек.
 Я не намерен препираться с Брутом,
 Я просто говорю о том, что знаю.
 Его любили вы, и по заслугам,
 Так что ж мешает вам его оплакать?
 О, разум, ты вселился в диких тварей,
 А от людей бежал. Не осудите,
 Что мне придется речь свою прервать:
 Моя душа у Цезаря в гробу, –
 Я помолчу, пока она вернется.

Первый гражданин

А есть в его словах и доля правды!

Второй гражданин

Как поразмыслишь, с Цезарем, пожалуй,
Паскудно поступили.

Третий гражданин

Лишь бы только
Похуже кто не сел на это место.

Четвертый гражданин

А вы слышали – он отверг корону!
Выходит так, что не искал он власти.

Первый гражданин

Коль выйдет так, кому-то будет худо.

Второй гражданин

Антоний-то несчастный весь в слезах.

Третий гражданин

Нет в Риме человека благородней!

Четвертый гражданин

Потише, он опять заговорил.

Антоний

Еще вчера единым словом Цезарь
Мир повергал во прах, а ныне нищий
Стыдится долг отдать его останкам.
Сограждане, начни я подстрекать
Сердца и души к мятежу и мести,
Я повредил бы Кассию и Бруту,
А это люди истинных достоинств,
Я не хочу им зла, пусть поступаю

В ущерб покойному, себе и вам,
 Да не в ущерб достойнейшим из римлян.
 Но я нашел у Цезаря пергамент
 С его печатью и последней волей;
 Когда бы эту волю в Риме знали, –
 А, я, простите, скрыть ее намерен, –
 Лобзать бы стали цезаревы раны,
 Мочить платки в его крови священной, –
 Да что там, – волосок молить на память,
 А испуская дух, по завещанью
 Отказывать его, как драгоценность
 Своим потомкам.

Четвертый гражданин

Читай-ка завещание; Антоний!

Все граждане

Открой нам волю Цезаря! Читай!

Антоний

Друзья, терпенье! Я читать не должен.
 Вам знать не нужно, как любил вас Цезарь.
 Вы не из дерева, вы не из камня,
 Вы люди и, услышав завещанье,
 Вы вспыхнете, как люди, вы взъяритесь.
 К чему вам знать, что вам пойдет наследство?
 Что после этой вести будет с вами?

Четвертый гражданин

Читай нам завещание, Антоний!
 Нам надо знать, что Цезарь завещал.

Антоний

А не потерпите? Не погодите?
 Как это только я проговорился?
 Не причинить бы зла почтенным людям,
 Вонзившим в Цезаря свои кинжалы!
 Не вышло бы беды!

Четвертый гражданин

Они изменники, эти почтенные люди!

Граждане

Открой волю Цезаря! Читай завещание!

Второй гражданин

Они убийцы и подлецы! Читай завещание Цезаря!

Антоний

Вы принуждаете меня читать?
Тогда вокруг покойного вставайте
И вам позвольте показать сперва
Чье завещанье вы узнать хотите.
Дозволено ли мне сойти с трибуны?

Граждане

Дозволено.

Второй гражданин

Сходи.

(Антоний сходит с трибуны.)

Третий гражданин

Мы разрешаем.

Четвертый гражданин

Становись вокруг!

Первый гражданин

Только не к самому гробу, не к самому телу!

Второй гражданин

Дайте встать Антонию, благороднейшему из всех!

Антоний

Не наваливайтесь на меня, держитесь подальше!

Граждане

Отступите немного! Дайте встать! Осади назад!

Антоний

Те, в ком есть слезы, приготовьтесь плакать.
 Все знали эту тогу. Я-то помню
 Как Цезарь в первый раз ее надел –
 В своей палатке, в жаркий летний вечер,
 Взяв перед тем над нервиями верх.
 Смотрите же: сюда ударил Кассий,
 Сюда – завистник Каска, а сюда –
 Воткнул кинжал его любимец – Брут;
 Потом он вытащил кинжал проклятый,
 И разом хлынула из раны кровь,
 Как будто бросилась к дверям разведать
 И впрямь ли Брут нещадно так стучал.
 Известно, Брут был цезарев любимчик,
 Как дорожил им Цезарь знают боги;
 Его удар был самый беспощадный.
 Когда увидел благородный Цезарь,
 Что поднял руку Брут, неблагодарность
 Была страшней предательских ударов
 И одолела – сердце разорвалось.
 Тогда накинуд на голову тогу
 И у подножья статуи Помпея,
 Ее обрызгав кровью, Цезарь пал.
 Сограждане, свершилось то паденье,
 В котором я и вы, и все мы пали,
 А расцвела кровавая измена.
 Теперь вы плачете, теперь вам жалко,
 Что нет его, – сочувствие почтенно!
 Но души добрые, такие слезы

У вас исторг вид цезаревой тоги?
Тогда глядите: вот лежит он сам,
Кинжалами предателей зарезан.

Первый гражданин

О, горестное зрелище!

Второй гражданин

О, великий Цезарь!

Третий гражданин

О, злосчастный день!

Четвертый гражданин

О, предатели! О, подлецы!

Первый гражданин

О, сколь кровавая картина!

Второй гражданин

Мы за него отомстим!

Граждане

К отмщенью! Мы этих подлецов същем! Бей предателей! Жги!
Круши! Убивай! Нечего их жалеть! Бей их всех до последнего!

Антоний

Погодите, граждане!

Первый гражданин

Потише, слушайте благородного Антония!

Второй гражданин

Мы его слушаем, мы за ним пойдем, и жизни за него не пожалеем!

Антоний

Друзья, не стал бы вас я подстрекать
 К подобному приливу возмущенья.
 Свершившие убийство – благородны.
 Не знаю, что за личные причины
 Их к этому толкали, только знаю:
 У них, при их уме и благородстве,
 Вы получить могли бы объясненья.
 Я не хочу вас отвращать от них,
 И я ведь не оратор, вроде Брута,
 Я, всякий знает, человек простой,
 Любил я друга – тоже всем известно,
 Вот мне проститься с ним и разрешили.
 Нет у меня ни быстрого ума,
 Ни слов таких, ни жестов, ни хваток,
 Ни дара речи, чтобы распалить
 Людскую кровь, – я говорю, как было;
 Вы сами знали все, что я скажу.
 Я покажу вам цезаревы раны,
 Поблекшие, безгласные уста, –
 Пусть скажут за меня. Вот будь я Брутом,
 А Брут Антонием, тогда б Антоний
 Взъярил сердца и в каждую из ран
 Вложил язык, тем подвигая к бунту
 Не то, что вас, но даже камни Рима.

Граждане

Мы взбунтуемся!

Первый гражданин

Мы спалим Бруту дом!

Третий гражданин

Пошли, отыщем этих заговорщиков!

Антоний

Сограждане, послушайте меня!

Граждане

Тихо! Слушайте Антония, благородного Антония!

Антоний

Друзья мои, вы рветесь совершить
Не зная сами что. Но чем же Цезарь
В вас возбудил подобную любовь?
Вот и не знаете. Так я напомним,
Что позабыли вы про завещанье.

Граждане

И верно! Будем завещанье слушать.

Антоний

Вот завещанье, вот на нем печать.
Дано здесь каждому из римских граждан, –
Да, каждому – по семьдесят пять драхм.

Второй гражданин

Благороднейший Цезарь, мы за тебя отомстим!

Третий гражданин

О, Цезарь, сколь ты славен!

Антоний

Прошу, еще немного помолчите.

Граждане

Эй, потише!

Антоний

Он сверх того свои луга и рощи
И заново разбитые вдоль Тибра
Сады и парки завещает вам
И вашему потомству, чтобы всякий
Там погулять сумел и поразвлечься.
Вот Цезарь был каков! Где взять другого?

Первый гражданин

Такого не сыскать! Пошли за мной,
Чтобы, предав сперва сожжению тело,
Поджечь дома злодеев головнями.
Берите труп.

Второй гражданин

Ступайте за огнем!

Третий гражданин

Ломайте скамьи!

Четвертый гражданин

Срывайте окна! Бей во что попало!

(Граждане уходят, унося труп Цезаря.)

Антоний

Готово. Смута, на ноги ты встала,
Путь выбирай сама!

Входит слуга.

Что скажешь, парень?

Слуга

Уже Октавий в Риме.

Антоний

Где же он?

Слуга

В дом к Цезарю они пошли с Лепидом.

Антоний

И я не мешкая туда отправлюсь,
Он прибыл во время. Сейчас фортуна
Повеселела и кой-чем одарит.

Слуга

Слыхал я, сквозь ворота городские
Промчались, как безумцы, Брут и Кассий.

Антоний

Прознали, верно, что народ я поднял,
Теперь веди к Октавию меня.

(Уходят.)

Сцена III

Улица

Входит поэт Цинна

Цинна

Мне снилось, что мы с Цезарем кутили.
И одолели же меня кошмары:
Вот не хотелось выходить из дому,
А что-то подбивает.

Входят граждане.

Первый гражданин

Тебя как зовут?

Второй гражданин

И куда это ты отправился?

Третий гражданин

А живешь где?

Четвертый гражданин

А холостой ты или женатый?

Второй гражданин

Отвечай каждому напрямик!

Первый гражданин

Да покороче.

Четвертый гражданин

И толком.

Третий гражданин

И одну только правду, тебе же лучше будет.

Цинна

Как меня зовут? Куда я направляюсь? Где живу? Женат я или холост? Ну, чтобы ответить каждому напрямик, толком, покороче и одну только правду, скажу сразу – я холост.

Второй гражданин

Это все одно, как сказать, что женатые все дураки. Боюсь, ты хочешь, чтобы я тебя стукнул. Продолжай, да выкладывай все, как есть.

Цинна

Все, как есть: я иду на похороны Цезаря.

Первый гражданин

Как друг или как враг?

Цинна

Как друг

Второй гражданин

Вот это прямой ответ.

Четвертый гражданин

А ты где живешь?

Цинна

В двух словах: возле Капитолия.

Третий гражданин

Зовут тебя как? Говори правду.

Цинна

Говорю правду: меня зовут Цинна.

Второй гражданин

Рвите его на куски, он заговорщик.

Цинна

Я поэт Цинна, я поэт Цинна!

Четвертый гражданин

Рвите его за скверные стихи, рвите его за скверные стихи.

Цинна

Я не заговорщик Цинна!

Второй гражданин

Велика важность, его зовут Цинна. Вырвем это имя у него из сердца и пусть проваливает.

Третий гражданин

Рвите его, рвите на части! Берите головешки, огненные головешки! Ступайте к Бруту, к Кассию, палите все подряд. Кто пойдет к Децию, кто к Каске, кто к Лигарию! Идем! Пошли!

(Уходят).

АКТ IV

Сцена I

Рим. Комната в доме Антония.

Антоний, Октавий и Лепид сидят за столом.

Антоний

Все те, кто здесь помечены, умрут.

Октавий

Лепид, и брат твой тоже. Ты не против?

Лепид

Не против.

Октавий

Подчеркни его, Антоний.

Лепид

Но пусть и Публий, сын твоей сестры,
При том лишится жизни, Марк Антоний.

Антоний

Умрет и он. Гляди, под ним черта.
А ты ходил бы к Цезарю, Лепид,
За завещаньем, чтобы сговориться
Какие мы в нем части упраздним.

Лепид

Вы не уйдете?

Октавий

Разве в Капитолий.

(Лепид уходит.)

Антоний

Ничтожный, недостойный человек,
Лишь на посылки годный, как он может
Принять участие в разделе мира
И третью завладеть?

Октавий

Ты так считаешь,
А, между тем, решаешь вместе с ним
Кого казнить, кого предать опале.

Антоний

Октавий, все же я тебя постарше.
Ему дарю славу, мы, тем самым,
С себя снимаем часть худых наветов.
Пускай-ка он их тащит как осел,
Потея и кряхтя под нашим златом,
Туда, куда мы будем погонять.
А как сокровища доставит наши
Куда нам надо, снимем тяжкий груз
И выставим осла, – пусть травку щиплет
Да хлопает ушами.

Октавий

Это можно;
А все же он испытанный солдат.

Антоний

Таков же и мой конь, и я за это
Ему всегда назначу вдосталь корма;
Коня учу я делать повороты,
Стоять на месте и скакать вперед, –
Быть духу моему покорным телом.
В таком же роде надобно Лепиду
Учить, и понукать, и направлять;
Бездарен он, и ум его живет

Обедками, которые другие
 Выкидывают вон, да подражаньем
 Тому, что отжило свой век; Октавий,
 В нем кроме средства нечего искать.
 Но возвратимся к делу: Брут и Кассий
 Готовят силы: нам их надо встретить.
 Давай решим с союзниками вместе
 Что предпринять нам было бы полезно,
 И в самом скором времени обсудим
 Как выявить незримую опасность,
 И совладать с открытым нападеньем.

Октавий

Так и поступим. Мы со всех сторон
 Окружены коварными врагами,
 И те, кто расточают нам улыбки
 В своих сердцах готовят мятежи.

(Уходят.)

Сцена II

Лагерь неподалеку от Сард. Перед палаткой Брута.

Барабанный бой. Входят Брут, Люцилий и Титиний с войском, навстречу им Люцилий и Пиндар.

Брут

Стой!

Люцилий

Говори пароль! Ни шагу дальше!

Брут

Люцилий, что слышать? Далеко ль Кассий?

Люцилий

Рукой подать. От Кассия с поклоном
К тебе пришел его слуга Пиндар.

(Пиндар подает Бруту письмо.)

Брут

Поклон учтив. Твой господин, Пиндар, –
Менясь или следуя наветам, –
Порой давал мне повод пожелать,
Чтобы свершившееся не свершилось.
Но если он по близости, мы можем
Уладить споры.

Пиндар

Я не сомневаюсь,
В том, что хозяин мой, каков он есть,
И уважителен и благороден.

Брут

Он – вне сомнений. А скажи, Люцилий,
Как принял он тебя?

Люцилий

Вполне любезно,
А в то же время не накоротке, –
Без той непринужденности, которой
Он отличался прежде.

Брут

Это значит,
Что пылкий друг остыл. Заметь, Люцилий,
Когда любовь, приевшись, угасает,
Пускают в ход хорошие манеры.
Тому, кто прям, не надобны уловки,
А лживый человек, что конь горячий:
Резвится, так подумаешь, ретив,

А чуть пришпоришь, опускает холку
И валится, как подставная кляча
На состязаньях. Он придет с войсками?

Люцилий

Часть войска он оставит на ночь в Сардах,
Но конницу намерен взять с собой.

Брут

А вот и он!

(За сценой слышен марш.)

Идем ему навстречу!

Входит Кассий с войском.

Кассий

Стой!

Брут

Стой! Передавай команду дальше!

Первый солдат

Стой!

Второй солдат

Стой!

Третий солдат

Стой!

Кассий

Дражайший брат, меня ты обижаешь.

Брут

О, боги! Я врага-то не обижу,
Так неужели я обижу брата?

Кассий

Под маской кротости ты прячешь злобу,
Но поступая так...

Брут

Послушай, Кассий,
Не распаляйся: я тебя ведь знаю.
Не будем спорить на глазах у войска.
Которое должно меж нами видеть
Одну любовь. Пускай войска отступят,
И я тогда смогу в своей палатке
Принять твои претензии.

Кассий

Пиндар,
Распорядись, чтобы мои солдаты
Немного оттянулись.

Брут

И ты, Люцилий, тоже. Да не смеет
Никто к палатке подойти, покамест
Идет совет. Вас, Люций и Титиний,
Я оставляю стражами у входа.

(Уходят.)

Сцена III

В палатке Брута

Входят Брут и Кассий

Кассий

Что ты вредить мне стал, наружу вышло,
Когда суду был предан Люций Пелла
За то, что дескать, в Сардах взятки брал.
Я написал, что знаю человека,
Но ты со мной не пожелал считаться.

Брут

Себе во вред ты за него вступился.

Кассий

В такую пору, как сейчас, нелепо
Наказывать за мелкую провинность.

Брут

Послушай, Кассий, многие считают,
Что сам ты тоже на руку нечист,
И должности за деньги продаешь
Ничтожествам.

Кассий

Я на руку нечист?
Скажи мне это кто другой, клянусь,
Не произнес бы больше он ни слова.

Брут

Прикрылась честью Кассия продажность,
И правосудие главу склоняет.

Кассий

Чье правосудие?

Брут

Припомни март, припомни Иды марта:
 Или великий Юлий пролил кровь
 Не ради правды? Или был подлец
 В него вонзивший нож не ради правды?
 Ужели хоть один из умертвивших
 Первейшего среди мужей вселенной
 За то, что потакал вора́м, – пойдет
 На то, чтоб руки пачкать в подлых взятках
 И продавать свой благородный подвиг
 За пригоршню невесть какого хлама?
 Чем быть подобным римлянином, лучше
 Быть псом и лаять на луну.

Кассий

Не лай
 Покамест на меня. Ты что – забылся?
 Так я терпеть не стану. Я солдат,
 И я по службе старше, – мне сподручней
 Дела решать.

Брут

Но, это ведь не так.

Кассий

Нет, так!

Брут

Я говорю, не так.

Кассий

Не трогай лучше, – я могу забыться.
 Поберегись, – не задевай меня!

Брут

Прочь, жалкий человек!

Кассий

И это наяву?

Брут

Я все скажу:

Ты мне велишь терпеть твои безумства?
Идти перед бесчинством на попятный?

Кассий

О, боги, боги! – это все снести?

Брут

И более – переломить гордыню.
Пугай своих рабов, чтоб трепетали,
Не мне же ты прикажешь трепетать,
И пятиться назад и пресмыкаться
Раз ты во гневе? Нет, клянусь богами,
Всю желчь свою ты переваришь сам,
Пусть даже треснешь. Мне же с этих пор
Занятно только будет и забавно
Коль ты вспыхнешь.

Кассий

До этого дошло?

Брут

Ты говоришь, ты лучше в ратном поле,
Делами подтверди свое бахвальство, –
Я первый буду рад, – что до меня,
Я счастлив у достойного учиться.

Кассий

Не придирайся, Брут, не придирайся.
Я говорил, – я старше, а не лучше.
Сказал я лучше?

Брут

Хоть бы и сказал,
Мне дела нет.

Кассий

Сам Цезарь, будь он жив,
Мне не рискнул бы говорить такое.

Брут

К нему ты не рискнул бы приставать.

Кассий

Я не рискнул бы?

Брут

Нет.

Кассий

Так не рискнул бы?

Брут

Зачем бы стал ты жизнью рисковать?

Кассий

Не слишком льстись насчет моей любви!
Отвечу так, что после пожалею.

Брут

Ты сделал все, чтобы потом жалеть.
Но ты меня зазря стращаешь, Кассий,
Закованному в честь, твои угрозы
Мне все равно, что праздный ветерок, —
Я их не замечаю. За деньгами

К тебе я посылал, – ты отказал.
 Но я для денег не пойду на подлость.
 Клянусь богами, легче мне монету
 Из собственного сердца начеканить
 И кровь отдать на драхмы, чем украдкой
 Рвать из натруженных крестьянских рук
 Их крохи жалкие. Я за деньгами
 К тебе послал, чтобы платить солдатам, –
 Ты отказал. И это сделал Кассий!
 Я разве так бы Кассию ответил?
 Когда Марк Брут настолько станет скуп,
 Чтобы дрянной металл беречь от друга,
 Пусть боги на него обрушат стрелы
 И в ключья рвут.

Кассий

Но я не отказал.

Брут

Нет, отказал.

Кассий

Нет, мой ответ тебе
 Передавал дурак. Брут рвет мне сердце
 Друзья пристало слабости прощать,
 А Брут мои нарочно раздувает.

Брут

Отнюдь. Но ты их пробуешь на мне.

Кассий

Меня не любишь ты.

Брут

Я не люблю

Твои пороки.

Кассий

Друг бы их не видел.

Брут

Льстец бы не видел, пусть они бы даже
Переросли Олимп.

Кассий

Сюда, сюда, Антоний и Октавий!
На Кассия обрушьте вашу месть!
Ему постыло жить. Кого он любит,
Тому он ненавистен. Даже брату
Он неугоден. Будто бы раба
Его секут, и все его ошибки
Сосчитаны, занесены в тетрадку,
И наизусть затвержены, чтоб ими
В лицо мне тыкать. О, когда б я мог
Излить слезами душу! Вот мой меч,
Вот грудь моя, – в ней сердце драгоценней,
Чем золото, богаче во сто крат,
Чем рудники Плутона, – вырывай,
Когда ты римлянин. Ты говоришь, –
Я не дал золота, так я дам сердце.
Убей меня, как Цезаря. Я знаю,
Что в миг, когда его ты ненавидел
Всего сильнее, его любил ты больше,
Чем Кассия любил когда-нибудь.

Брут

Вложи свой меч в ножны. Теперь ты волен
Как хочешь гневаться. Я улыбнусь
В ответ на поношение. О, Кассий,
Ты дружишь с агнцем, – он пылает гневом
Как пламенем кремень. Ударь, – он вспыхнет,
И снова холоден.

Кассий

Так значит Кассий

Лишь для того и жил, чтоб тешить Брута,
Когда тот загрустил или не в духе?

Брут

Я был не в духе и на этот раз.

Кассий

Признался? Дай мне руку.

Брут

Вместе с сердцем.

Кассий

О, Брут!

Брут

Ну, что еще?

Кассий

Ужель в тебе

Любви не хватит, чтобы мне простить
От матери идущую горячность?

Брут

Согласен, Кассий. Если ты всплывишь,
Брут впредь сочтет, что мать твоя виновна
И тем пренебрежет.

(Снаружи шум.)

Поэт (за кулисами)

Позволь пройти!

Меж полководцев распря. Их одних
Не гоже оставлять.

Люцилий (за кулисами)

Ты не пройдешь!

Поэт (за кулисами)

Меня удержит разве только смерть!

Входит поэт в сопровождении Люцилия, Титиния и Люция.

Кассий

Чего ты хочешь? Что стряслось такого?

Поэт

Мне совестно за вас! Что вы творите?
Да свяжет дружба двух таких мужей, –
Я старше вас и, стало быть, мудрей.

Кассий

А скверно циник складывает вирши!

Брут

Прочь, наглый шут! Пошел, бездельник, вон!

Кассий

Уж ты его прости, он так устроен!

Брут

Я склонен к шуткам, если шутят к месту.
Но на войне к чему подобный шут?
Пошел, болван!

Кассий

Скорее убирайся!

(Поэт уходит.)

Брут

Люцилий и Титиний, прикажите
Отрядам на ночь разбивать палатки.

Кассий

И возвращайтесь, прихватив Месаллу!

(Люцилий и Титиний уходят.)

Брут

Подай вина, мой мальчик!

(Люций уходит.)

Кассий

Я не думал,
Что так ты можешь гневаться.

Брут

О, Кассий,
Большие беды на меня свалились.

Кассий

Ты философию свою оставил,
И стал нестойк перед мелким злом.

Брут

Нет столь же стойких, – Порция мертва.

Кассий

Как? Порция?

Брут

Она мертва.

Кассий

Так как же

Я уцелел, когда тебе перечил?
 Безмерная и горькая утрата!
 Что за болезнь?

Брут

Терзания разлуки
 И страх, что Марк Антоний и Октавий
 Накапливают силы. – Эта весть
 С ее недомоганием совпала,
 Не мог рассудок совладать с бедой,
 Она была тогда совсем одна
 И проглотила раскаленный уголь.

Кассий

И так погибла?

Брут

Да, вот так.

Кассий

О, боги!

С вином и свечей возвращается Люций.

Брут

Не говори о ней. Налей вина.
 Я утоплю в нем все свои невзгоды.

(Пьет.)

Кассий

Тебе ответить тем же жаждет сердце,

Лей, Люций, наливай мне через край, –
За дружбу Брута, что ни пей, все мало.

(Пьет.)

Брут

Входи, Титиний!

(Люций уходит.)

Возвращается Титиний, с ним Мессала.

Добрый день, Мессала.
Теперь давайте сядем у свечи
И потолкуем о делах насущных.

Кассий

Не стало Порции?

Брут

Прошу, довольно.
Мессала, получил я тут письмо,
Что молодой Октавий и Антоний
Собрали против нас большую рать
И двинули свои войска к Филиппам.

Мессала

О том же самом написали мне.

Брут

И больше ни о чем?

Мессала

О том, что сто сенаторов убили
Октавий, Марк Антоний и Лепид,
Лишив их покровительства закона.

Брут

Тут наши письма не совсем сошлись;
Мне сообщали – семьдесят убито,
Но среди них был назван Цицерон.

Кассий

И Цицерон!

Мессала

И Цицерон убит, –
И он попал в проскрипционный список!
А от жены ты не имел вестей?

Брут

Нет, не было.

Мессала

И ничего о ней не сообщали?

Брут

Нет, ничего.

Мессала

Мне это очень странно.

Брут

А что, в твоём письме есть весть о ней?

Мессала

Нет, вести нет.

Брут

Когда ты римлянин, скажи мне правду.

Мессала

Тогда, как римлянин, ее прими:
Твоя жена погибла, и ужасно.

Брут

Что ж, Порция, прощай! Мы все ведь смертны.
Мысль, что она бы умерла однажды,
Дает мне это выдержать сегодня.

Мессала

Великим людям так и подобает
Переносить великие утраты.

Кассий

Я знаю это все не хуже вас,
Но я бы этак не сумел держаться.

Брут

Вернемся к жизни. Что бы вы сказали,
О быстром продвижении к Филиппам?

Кассий

Не одобряю.

Брут

Почему?

Кассий

Нам лучше
Чтобы противник двигался на нас,
Терял бы силы, изнурял бы войско,
И сам себе вредил, а мы, меж тем,
Спокойно отдыхая, выжидали,
Готовые вступить немедленно в бой.

Брут

Хороший довод меркнет перед лучшим.
 В окрестных землях нас едва лишь терпят –
 Народ вконец замучили поборы.
 Противник, проходя по этим землям,
 Получит их поддержку и окрепнет
 И ободрится. Если же, напротив,
 Мы поспешим к Филиппам и отрежем
 Его от недовольных, этих выгод
 Ему не видеть.

Кассий

Но, любезный брат...

Брут

Позволь мне кончить. И не забывай,
 Что от друзей мы взяли все, что можно,
 Что наши части в сборе, наше дело
 Поистине созрело, и покамест
 Враг набирает силу с каждым днем
 Мы, взяв вершину, клонимся к упадку.
 В людских делах есть тоже свой прилив:
 Кто с ним совпал, тот оседлал фортуны
 Кто прозевал – тому, плывя по жизни
 Лишь застревать на отмелях и рифах.
 Сегодня море поднялось для нас,
 И надобно довериться приливу,
 Не то упустим случай.

Кассий

Как ты хочешь!
 Отправимся противнику навстречу.

Брут

Пока мы говорили, ночь настала,
 И вспомнила природа человечья
 Свои потребности. Дадим ей отдых.
 Какие есть у нас еще дела?

Кассий

Нет никаких! Спокойной ночи! Утром
Мы выступаем.

Брут

Люций!

Входит Люций.

Платье на ночь!
Прощай, Мессала. Будь здоров, Титиний.
Спокойной ночи, благородный Кассий,
И добрый снов.

Кассий

О, дорогой мой брат!
Ночь началась ужасно. Наши души
Не повторят подобного разлада.
Не надо, Брут.

Брут

Теперь все хорошо.

Кассий

Спокойной ночи.

Брут

Спи спокойно, брат мой.

Титиний, Мессала

Спокойной ночи, Брут.

Брут

Друзья, прощайте.

(Кассий, Титиний и Мессала уходят.)

Возвращается Люций со спальным бельем.

Дай мне одеться. Где ты держишь лютню?

Люций

В палатке тут.

Брут

Да ты совсмк заснул!

Несчастный малый, глаз ведь не смыкаешь!

Ты кликни Клавдия или еще кого, –

Пускай ложатся спать в моей палатке.

Люций

Варрон и Клавдий!

Входят Варрон и Клавдий.

Варрон

Ты нас звал, хозяин?

Брут

Прошу вас на ночь лечь в моей палатке.

Я скоро вас, возможно, разбужу

И к Кассию отправлю с порученьем.

Варрон

Мы, если надо, можем не ложиться.

Брут

Нет, этого не нужно, лягте спать!

Я, может быть, надумаю другое.

Гляди-ка, Люций, я ведь эту книгу

Не мог сыскать, а сам в карман засунул.

(Варрон и Клавдий ложатся.)

Люций

Я говорил, что я ее не видел.

Брут

Прости, мой мальчик, я забывчив стал.
А ты не мог бы одолеть дремоту
И хоть немного пробежать по струнам?

Люций

Как ты желаешь.

Брут

Я желаю, мальчик.
Сверх меры мучу я тебя, коль скоро
Ты это терпишь.

Люций

Так велит мне долг.

Брут

Но спрашивать с тебя сверх сил не надо,
Я знаю, в молодости нужен отдых.

Люций

А я уже, хозяин, подремал.

Брут

И правильно; а там опять задремлешь, –
Ведь я не задержу, – а буду жив,
К тебе добрее стану.

(Люций играет и поет. Музыка и пение.)

Но дремоту
 Наводит твой мотив: убийца-сон,
 Ты мальчика, игравшего на лютне,
 Сковал своим свинцом. Спи, славный малый.
 Не так жесток я, чтоб тебя будить.
 Но повернувшись, ты сломаешь лютню, –
 Возьму-ка я ее. Ну, вот и спи.
 Примусь за чтение. Разве я страницу
 Не заложил? Читал я, вроде, здесь.

Входит тень Цезаря.

Какой неровный свет! А это кто?
 Глаза мои настолько ослабели,
 Что им уже мерещатся кошмары.
 Он движется ко мне. Ты кто таков?
 Ты бог, или ты дух, или ты демон,
 Что стынет кровь и волосы встают?
 Скажи, ты кто?

Тень

Я твой недобрый гений.

Брут

Зачем пришел?

Тень

Хочу тебе сказать,
 Что ты меня увидишь при Филиппах.

Брут

Еще мы свидимся?

Тень

Да, при Филиппах.

Брут

Что ж, можем при Филиппах повидаться.

(Тень исчезает.)

Чуть я собрался с духом, ты исчез.
А то бы мы с тобой потолковали.
Эй, Люций! Эй, Варрон! Эй, Клавдий! Живо!
Вставать! Вставать!

Люций

Настроить лютню надо.

Брут

Он думает, что он еще играет.
Проснись-ка, Люций!

Люций

Что тебе, хозяин?

Брут

Какой ты видел сон, что так вопил?

Люций

Да разве же хозяин, я вопил?

Брут

И как вопил! Ты что-нибудь увидел?

Люций

Нет, ничего.

Брут

Спи, Люций! Можешь спать!
Варрон, вставай! И ты, бездельник, тоже!

Варрон

Чего тебе?

Клавдий

Что приказать изволишь?

Брут

Вы почему кричали так со сна?

Варрон, Клавдий

А мы кричали?

Брут

Да! Вам что-то снилось?

Варрон

Нет, ничего.

Клавдий

Мне тоже ничего.

Брут

С моим поклоном к Кассию бегите
И попросите, чтобы выступал
Как можно раньше. Мы без промедленья
Пойдем за ним.

Варрон, Клавдий

Все в точности исполним

(Уходят.)

АКТ V

Сцена I

Равнина при Филиппах

Входят Октавий и Антоний со своими легионами.

Октавий

Ну, вот, мои надежды и сбылись!
Ты уверял, Антоний, что противник
Вовек с холмов не спустится в долину,
А вышло по иному. Их войска –
Рукой подать, и первыми готовы
Пойти на нас в атаку при Филиппах.

Антоний

Пустое. Проникая к ним в нутро,
Я понимаю их – они бы рады
Идти иным путем, но шли сюда
Бесстрашием отчаянья гонимы
И мня, что мы сочтем его за храбрость.
Но это вздор.

Входит гонец.

Гонец

Готовьтесь, генералы,
Противник движется походным строем,
Знамена боевые развернув.
Нам что-то надо поскорее делать.

Антоний

Октавий, помаленьку продвигай
Свои войска на левом фланге поля.

Октавий

Я буду справа, ты ступай налево.

Антоний

Зачем ты мне перечишь в грозный час?

Октавий

Я не перечу, только так и будет.

Мари. Бьют барабаны. Входят Брут и Кассий со своими легионами, Люций, Титиний, Мессала и прочие.

Брут

Они, пожалуй, ждут переговоров.

Кассий

Стой здесь, Титиний. Мы к ним выйдем с Брутом.

Октавий

Даем сигнал к сраженью, Марк Антоний?

Антоний

Нет, Цезарь, лучше пусть начнут они!
Пойдем, они хотят переговоров.

Октавий

Ни с места без приказа!

Брут

Слова предшествуют ударам – верно?

Октавий

Не так, как ты, Марк Брут, к словам мы склонны.

Брут

А разве слово доброе, Октавий,
Не лучше, чем худой удар?

Антоний

Ты, Брут,
Худой удар приправишь добрым словом.
Известно, – Цезарю пронзая сердце,
Ты завопил: «Живи и здравствуй Цезарь!»

Кассий

Еще твоих не знаем мы ударов,
Но что до слов, Антоний, пчелы Гиблы
Ограбленные ими, оказались
Совсем без меда.

Антоний

Только не без жала.

Брут

Да где там жало? Даже без жужжання!
Ты отнял и его, – и не напрасно
Теперь грозишь, намереваясь жалить.

Антоний

Мерзавцы! Вы то сами не грозились,
Втыкая ваши грязные кинжалы
В грудь Цезарю? Сперва, как обезьяны,
Вы зубы скалили, сперва, как псы,
Хвостами вы виляли, как рабы,
Вы Цезарю, пав ниц, лобзали ноги,
А окаянный Каска, между тем,
Как собаченка, подобравшись сзади,
Уже ударил в шею. Подлипалы!

Кассий

Ты что? Ну, Брут, себя благодари!
Сегодня этот рот не нес бы брани,
Когда бы Кассий заводил порядки!

Октавий

Поближе к сути! Если от речей
Бросает в пот, то испытанье делом
Сумет выжать покраснее влагу.
Глядите:

Я на измену подымаю меч,
Когда, скажите, он в ножны вернется?
Когда я отомщу за тридцать три
Удара Цезарю, или, когда
Другого Цезаря убьет предатель.

Брут

От рук предателей ты не погибнешь,
Коли с собой их не привел.

Октавий

Надеюсь,
Я не затем, чтоб Брут меня зарезал
Рожден на свет.

Брут

Будь ты в свое роду
Знатнее всех, – не умер бы достойней.

Кассий

Не много ль чести чванному мальчишке,
Приятелю задиры и пропойцы?

Антоний

Утихни, старый Кассий!

Октавий

Марк Антоний,
Идем отсюда. Я бросаю вызов
Вам всем в предательские ваши рожи.
Рискнете драться нынче – выходите,
Нет, – подождем покуда вы рискнете.

(Октавий, Антоний и их легионы уходят.)

Кассий

Дуй, ветер, вал, ярьсь, ладя, плыви!
Взыграла буря! Все решает случай.

Брут

Люцилий, подойди ко мне!

Люцилий

Что скажешь?

(Брут и Люцилий беседуют в стороне.)

Кассий

Мессала!

Мессала

Что, достойнейший?

Кассий

Мессала,
Мое рождение нынче. В этот день
Родился Кассий. Протяни мне руку, –
И будь свидетелем, что против воли,
Как некогда Помпей, я принужден
Теперь доверить одному сраженью
Все дорогие для меня свободы.
Ты знаешь, я держался Эпикура,

Но, отступая от его ученья,
Я начинаю веровать приметам.
Когда мы шли от Сард, на наше знамя
Уселись два могучие орла,
Они сидели там, как на насесте,
Хватая пищу из солдатских рук,
И с нами до Филипп не расставались.
Они сегодня утром улетели.
Но вороны и коршуны кружат
Приглядываясь к нам все неотступней,
Как будто мы их верная добыча,
И тени их, как траурный покров,
На армию ложатся, смерть пророча.

Мессала

Не верь ты в это.

Кассий

Я не слишком верю,
И бодр, и тверд, и не сробею духом,
Какая бы ни встретилась опасность.

Брут

Вот так, Люцилий.

Кассий

Благородный Брут,
Да будут благосклонны нынче боги,
Чтоб наша дружба до седин продлилась,
Но раз исход сражения неверен,
То худшее давай себе представим:
Коль скоро этот бой мы проиграем,
Наш разговор окажется последним, –
Скажи, что ты тогда намерен делать?

Брут

Останусь как доселе верен взглядам,
Мне повелевшим порицать Катона,

Убившего себя. По мне, из страха
 Пред тем, что с нами, может быть, случится,
 Не гоже прерывать течение жизни.
 Вооружусь терпением, и доверюсь
 Высоким силам, промысел которых
 Решает судьбы смертных.

Кассий

Ты допустишь,
 Чтобы тебя победоносный враг
 По римским улицам провел в оковах?

Брут

Нет, благородный Кассий, нет, не думай,
 Что связанным увидят в Риме Брута.
 Он слишком горд. Но ныне завершится.
 То, что берет начало в Идах марта.
 Не знаю, суждено ли нам свиданье,
 Поэтому давай простимся, Кассий.
 Прощай, и навсегда теперь прощай.
 Увидимся еще раз – улыбнемся,
 А нет – и то уж благо, что простились.

Кассий

Прощай навеки, Брут, прощай навеки.
 Увидимся, – и вправду улыбнемся,
 А нет, – и вправду, благо, что простились.

Брут

Ну, начинай! О, если бы заране
 Могли мы знать, как этот день окончим!
 Но день окончится и с нас довольно, –
 Тогда узнаем все. Теперь вперед!

(Уходят.)

Сцена II

Поле сражения

Боевой сигнал. Входят Брут и Мессала.

Брут

Скачи, Мессала, передай приказ
С той стороны стоящим легионам:

(Громкие боевые возгласы.)

Пусть разом наступают. Мне сдается,
Что фланг Октавия как будто дрогнул, –
Ему не устоять перед атакой.
Скачи, Мессала, пусть идут на приступ!

(Уходят.)

Сцена III

Другая часть поля

Боевой сигнал. Входят Кассий и Титиний.

Кассий

Гляди, Титиний: подлецы бегут.
Уже я стал врагом своим солдатам.
Когда бежать пустился знаменосец,
Я труса заколол и отнял знамя.

Титиний

Эх, Кассий, слишком Брут был опрометчив,
Когда на малый перевес надеясь
В атаку ринулся. Его солдаты
Резвились у Октавия в тылу,
А нас Антоний окружил покамест.

Входит Пиндар.

Пиндар

Беги, хозяин, надобно бежать.
Уже Антоний захватил твой лагерь.
Не мешкая, беги! Скорее, Кассий!

Кассий

Взгляни-ка с этого холма, Титиний, –
Да не моя ли там горит палатка?

Титиний

Она.

Кассий

Титиний, если мной ты дорожишь,
Седлай коня, давай покрепче шпоры,
Покуда не доскачешь к этим толпам,
И тотчас возвращайся, – знать мне надо
Кто там стоит – друзья или враги.

Титиний

Быстрее мысли буду я обратно.

(Уходит.)

Кассий

Ты залезай, Пиндар, на этот холм, –
Я слаб глазами, – и гляди оттуда,
И мне передавай, – что там Титиний.

(Пиндар взбирается на холм.)

Я в этот день родился. Круг замкнулся.
Где начал, там и кончить доведется.
Жизнь подошла к пределу. Эй, бездельник,
Что нового?

Пиндар (сверху)

Беда, хозяин.

Кассий

Что там?

Пиндар

Со всех сторон Титиния обходят
 На лошадях, – но он свою пришпорил.
 Теперь они почти сравнялись с ним. –
 Вот кто-то спешился. – Титиний тоже. –
 Он в плен попал. –

(ликующие возгласы)

От радости кричат.

Кассий

Слезай оттуда, нечего глядеть.
 Ничтожный трус, я значит жил так долго,
 Чтобы ближайший друг захвачен в плен
 Был на моих глазах!

Пиндар спускается.

Ко мне, бездельник!

Пиндар, я в Парфии, в плен взяв тебя,
 Жизнь даровал тебе, и ты поклялся,
 Что будет всякое мое желанье
 Исполнено. Так соблюдай же клятву!
 Прими свободу. И мой добрый меч,
 Сразивший Цезаря, вонзи мне в сердце.
 Не спорь со мной. Берись за рукоять,
 И чуть я заслону лицо. Готово! –
 Рази! О, Цезарь, За тебя отмстил
 Тот самый меч, которым ты зарезан.

(Умирает.)

Пиндар

Выходит, я свободен. Но не так
 Я обрести мечтал свободу, Кассий.
 Пиндар умчится в дальние края.
 Где римляне и знать о нем не будут.

(Уходит.)

Возвращается Титиний, с ним Мессала.

Мессала

У нас размен, Титиний. Ведь Октавий
 Ничуть не меньше пострадал от Бруга,
 Чем от Антония отважный Кассий.

Титиний

Такая новость Кассий утешит.

Мессала

Ты где его оставил?

Титиний

Павший духом,
 Он под холмом сидел с рабом Пиндаром.

Мессала

А это на земле не он лежит?

Титиний

Так не лежат живые. Что такое?!

Мессала

Не он?

Титиний

Нет, это был когда-то он,
 А Кассий уж нет. Садится солнце,
 Оно встречает ночь в лучах багряных,
 И Кассий встретил смерть в крови багровой.
 Погасло солнце Рима. День наш кончен.
 Пусть грянет буря. Мы свое свершили.
 Неверие в успех сгубило дело.

Мессала

Неверие в успех его сгубило.
 О, подлая ошибка, дочь печали!
 Зачем тебе являть воображенью,
 Чего на свете нет? Хотя зачата
 Ты запросто была, с тобой нет счастья,
 И мать свою ты только убиваешь.

Титиний

Пиндар, ты где? Куда пропал Пиндар?

Мессала

Сыщи его, а я отправлюсь к Бруту
 И слух ему проткну печальной вестью, –
 Я говорю: проткну, – куда острее,
 Чем сталь или отравленные стрелы,
 Для Брута эта новость.

Титиний

Ты иди,
 А я покуда поищу Пиндара.

(Мессала уходит.)

Что ж ты меня услали, отважный Кассий?
 Но не друзей ли встретил я? И разве
 Мне не дали они венка победы,
 Чтобы тебе вручить? И ты не слышал
 Их возгласов ликующих? Увы,

Ты все перетолковывал к худому!
 Но на тебя венок я возложу, –
 Так мне велел твой Брут, и я исполню
 Его веленье. Брут, скорей сюда,
 И погляди, как дорог мне Кай Кассий.
 Не мстите, боги, за обычай сей:
 Меч Кассия, Титиния убей!

(Убивает себя.)

Боевой сигнал. Возвращается Мессала, с ним Брут, молодой Катон, Стратог, Волюмний и Люцилий.

Брут

Но где же тело Кассия, Мессала?

Мессала

Да вот оно. Над ним Титиний плачет.

Брут

Титиний смотрит кверху.

Катон

Он убит.

Брут

О, Юлий Цезарь, ты могуч поныне!
 Твой дух у нас мечи на нас самих
 Наводит всюду.

(Гул сраженья.)

Катон

Доблестный Титиний!
 Он и на мертвого надел венок!

Брут

Таких уж нет, как эти двое римлян.
 Последний римлянин, прощай навек.
 Не может быть такого, чтобы Рим
 Родил тебе подобного Друзья,
 Над ними я бы пролил больше слез,
 Чем я могу их проливать сегодня,
 И я сыщу на это время, Кассий.
 Теперь же мы в Фассос отправим тело:
 Не то могли бы мы и духом пасть
 От погребенья в лагере. Люцилий,
 И ты, Катон, – за мной, на поле боя!
 И вы за нами, Лабеон и Флавий!
 Сегодня нам в бою дано опять
 Свою судьбу до ночи испытать.

(Уходят.)

Сцена IV

Другая часть поля.

*Боевой сигнал. Сражаясь, появляются солдаты обеих армий.
 Затем Брут, молодой Катон, Люцилий и прочие.*

Брут

Мужайтесь, римляне! Бодрей держитесь!

Катон

Что за ублюдок трусит? Кто со мной?
 Кто я таков, – я громко объявляю:
 Я – сын Катона! Эй, я – сын Катона!
 Я – враг тиранов, друг родной страны!
 Я – сын Катона! Эй, я – сын Катона!

Брут

А я – Марк Брут! Я – друг отчизны Брут!
 Я – Брут! Узнайте – перед вами Брут.

(Уходит, преследуя неприятеля. Катон, побежденный, падает).

Люцилий

О, доблестный Катон, и ты погиб?
Что ж, ты погиб без страха, как Титиний.
Ты был достоин своего отца.

Первый солдат

Сдавайся, или ты умрешь!

Люцилий

Сдаюсь,
Чтобы меня убили. Ты получишь
Все, что при мне, – убей меня скорей! –

(Предлагает ему деньги.)

И будешь славен, как убийца Брута.

Первый солдат

Нет, не могу. Такой почтенный пленник!

Второй солдат

Скажи Антонию: мы взяли Брута!

Первый солдат

Бегу! Да вот он сам.

(Входит Антоний.)

Мой повелитель,
Мы захватили Брута.

Антоний

Где же он?

Люцилий

Он в полной безопасности, Антоний,
 Поверь, что никакой на свете враг
 Живым не схватит доблестного Брута, –
 Его избавят боги от позора.
 Сыскав его, – живой он или мертвый, –
 Ты сыщешь Брута, лишь каков он есть.

Антоний

Друзья мои, не Брута вы поймали,
 Но пленника достойного. Держите
 Его с почетом. Я бы предпочел
 Иметь его в числе друзей. Ступайте
 Взглянуть, где Брут, и мертв он или жив.
 Я буду у Октавия в палатке,
 О новостях туда давайте знать.

(Уходят.)

Сцена V

Другая часть поля

Входят Брут, Дарданий, Клит, Стратон и Волюмний

Брут

Друзья мои, кто уцелел, сюда!
 Мы отдохнем у этих скал.

Клит

Статилий,
 Хоть поднял факел, да нейдет назад.
 Должно быть взяли в плен или убили.

Брут

Присядем, Клит! Убили – это слово
 Вошло в обыкновенье! Слушай, Клит!

(Шепчет.)

Клит

Чтоб я, хозяин? Ни за что на свете!

Брут

Молчи!

Клит

Я лучше сам себя убью!

Брут

Дарданий, слушай!

(Шепчет.)

Дарданий

Мне свершить такое?

Клит

Дарданий!

Дарданий

Клит!

Клит

Чего Брут домогался?

Дарданий

Чтоб я его убил! Ты погляди,
Как он задумался!

Клит

Сосуд бесценный
 Печалью переполнен до краев, –
 Уже она из глаз его сочится.

Брут

Волюмний, слушай, подойди ко мне!

Волюмний

Что ты желаешь мне сказать?

Брут

Волюмний

Дух Цезаря, в ночную пору дважды
 Являлся мне – в моей палатке в Сардах
 И в поле при Филиппах прошлой ночью
 Я знаю, час мой пробил.

Волюмний

Что ты? Нет!

Брут

Увы, я в этом убежден, Волюмний.
 Ты видишь сам, что случилось на свете.
 Уже враги нас подвели к могиле,
 И лучше прыгать нам туда самим,
 Чем ждать, пока столкнут. Мы, старина,
 С тобой ходили в детстве вместе в школу,
 Так помоги мне, старой дружбы ради:
 Держи мой меч – я брошусь на него.

Волюмний

Прости, такого долга нет у друга.

(Доносятся боевые возгласы.)

Клит

Беги, мой господин! Не время мешкать.

Брут

Прощай! И ты прощай! И ты, Волюмний,
 Стратон, ты стало быть, всем время спал?
 Прощай и ты. Сограждане, всем сердцем
 Я радуюсь, что те, кому я верил,
 Ни разу в жизни мне не изменили.
 Я обретаю славу в день утрат
 Побольше, чем Октавий и Антоний
 От подлой их победы. Все прощайте!
 Брут завершил свое повествованье
 О том, как жил. Ночь застилает взор.
 Дадим покой костям, не пожалевшим
 Труда, чтоб этого достигнуть часа.

(Сигнал тревоги. За сценой крики: Бегите! Бегите! Бегите!)

Клит

Бежим, хозяин!

Брут

Ты беги! Я следом.

(Клит, Дарданий и Волюмний уходят.)

Прошу тебя, Стратон, побудь со мной.
 Всегда ты был хорошим человеком,
 И благородства выказал немало.
 Возьми мой меч и в сторону гляди
 Когда я брошусь на него. Согласен?

Стратон

Сперва дай руку. Навсегда прощай!

Брут

Прощай, Стратон.

(Бросается на меч.)

А ты утешься, Цезарь, –
Тебя я убивал не столь охотно.

(Умирает.)

Боевые сигналы. Отбой. Входят Октавий, Антоний, Мессала, Люцилий и войско.

Октавий

А это кто?

Мессала

Он при вожде был нашим.
Стратон, куда девался твой хозяин?

Саратон

Он не пошел в рабы, как ты Мессала,
И победитель может лишь спалить
Его останки. Одолеть же Брута
Мог лишь он сам, – и никому другому
Честь быть его убийцей не досталась.

Люцилий

Так мы и ожидали. Брут, спасибо,
Что доказал мои слова на деле.

Октавий

Прислугу Брута я беру себе.
Любезный, ты пойдешь ко мне на службу?

Стратон

Да, если не посетует Мессала.

Октавий

Будь добр, Мессала.

Мессала

Как же умер Брут?

Стратон

Дал мне свой меч и бросился на меч.

Мессала

Пусть за тобой последует, Октавий,
Тот, кто последним был полезен Бруту.

Антоний

Один лишь Брут меж них был благороден.
Всем, кто свершил, то, что они свершили,
Был ненавистен наш великий Цезарь.
Лишь он один был искренен, считая,
Что действует во имя общей пользы.
Он жил достойно. Добрые начала
В нем так сплела природа, что могла бы
Сказать всем людям: «Вот был человек!»

Октавий

Он будет погребен со всем почетом,
Какой его достоинствам положен.
В палатку на ночь взять его ко мне,
Как павшего геройски на войне, –
Трубить отбой! Мы поделить пойдем
Дарованное нам счастливым днем.

(Уходят.)

Иоганн Вольфганг Гёте 1749-1832

Страдания молодого Вертера

Все, что я только мог разведать об истории бедняги Вертера, я тщательно собрал и предоставляю теперь вам с этим ознакомиться. Уверен, вы будете мне благодарны. Вы не откажете в уважении и любви его уму и натуре и не сможете не пролить слезу над его судьбой.

А ты, несчастный, охваченный тем же порывом, что и он, сыщи утешение в его страданиях, и пусть эта книжка станет тебе другом, если по воле рока или по собственной вине ты не обрел более близкого.

КНИГА ПЕРВАЯ

4 мая 1771 г.

Как хорошо, что я уехал! Друг мой бесценный, что такое сердце человеческое! Расстаться с тобой, при том, что я так тебя люблю, и нас водой было не разлить, -- и радоваться этому! Верю, ты меня простишь. Разве остальные знакомства не для того мне посланы, чтобы вселить смятение? Бедная Леонора! Но, как хочешь, я не виноват. При чем тут я, если покамест мне приятно было любоваться капризным очарованием ее сестры, в несчастном сердце крепла страсть? И все-таки -- так ли уж я не при чем? Не давал я разве пищи ее чувству? И не нравилось мне разве ее прямодушие, над которым мы так часто смеялись, хотя ничего в нем не было смешного? И разве я... Но что такое человек, как смеет он о себе судить! Я попробую, милый друг, обещаю тебе, я попробую стать лучше; не хочу больше погрязать, как доселе привык, в мелких горестях, которые шлет нам судьба, хочу жить нынешним днем, а прошлое пусть будет себе прошлым. Ты, разумеется, прав, дорогой, люди знали бы меньше горя, если бы -- один господь ведает, почему они устроены иначе -- поменьше будоражили свое воображение, снова и снова вспоминая минувшие невзгоды, вместо того, чтобы довольствоваться безмятежностью нынешнего дня.

Будь так добр, передай моей матери, что с ее делом я обойдусь наилучшим образом и незамедлительно ей о том

напишу. Я говорил с теткой, и она показалась мне вовсе не такой злыдней, какую у нас из нее делают. Это славная женщина, хотя и вспльчивая, но добрейшей души. Я изложил ей претензии матери по поводу положенной нам доли наследства, она объяснила мне свои резоны, а также и условия, на которых готова выдать все и даже больше нежели мы требуем. Короче говоря, – мне не хочется сейчас об этом писать, – передай матери, что все образуется. Это пустячное дело, мой милый, в какой уже раз показало мне, что взаимонепонимание и косность вносят в мир едва ли не больше раздора, чем вероломство и злоба. Последние, по крайней мере, не так распространены.

Признаться, мне здесь нравится. Уединение в этом райском месте – лучший бальзам для моего сердца, и младое время года согревает его, так часто трепетавшее от стужи, всем своим теплом. Каждое дерево, каждый куст – это букет цветов, и хочется стать майским жуком, чтобы плыть в этом море благоуханий и впитывать каждое.

Сам город непривлекателен, но вокруг – природа неслыханной красоты. Это побудило покойного графа фон М... разбить сад на одном из раскинувшихся в живописном беспорядке холмов, меж которыми простираются прелестные долины. Сад очень прост, и, едва войдешь, понятно, что план его начертан не ученым садоводом, а чувствительной душой, хотевшей обрести здесь отраду. Немало слез я пролил по усопшему в полуразвалившейся уже беседке, когда-то его, а ныне моем любимом уголке. Скоро я буду в саду хозяином, за какие-нибудь несколько дней садовник ко мне привязался, и об этом не пожалет.

10 мая

Все мое существо охватила несказанная радость, подобная сладостным весенним рассветам, которыми я наслаждаюсь от всей души. Я один и упиваюсь жизнью в этом краю, уготованном для таких, как я. Так я счастлив, мой бесценный, и настолько отдаюсь ощущению безмятежности бытия, что это идет во вред моему искусству. Я не мог бы провести сейчас и одного штриха, хотя никогда не был большим художником, нежели в эти мгновения. Когда передо мной курится прелестная долина, а солнце покоится высоко над непробиваемой тьмой леса, и редкий луч проникает в его святилище, а я лежу в высокой траве над бегущим ручьем,

различая у самой земли множество всевозможных стебельков, когда я чувствую, что сердцу моему близка суета этого крохотного мира меж тонких былинки, и все эти нескончаемые, непостижимые разновидности червячков и мушек, и ощущаю присутствие всемогущего, создавшего нас по образу и подобию своему, дыхание всеблагого, назначившего нам парить в вечном блаженстве, – друг мой! – когда все это вдруг подернется в моих очах туманом, а весь окрестный мир и сами небеса внидут ко мне в душу словно облик возлюбленной, – тогда, размечтавшись, я нередко думаю: ах, если бы все это выразить, если бы вдохнуть в бумагу то, что так цельно и страстно живет во мне, чтобы она отобразила мою душу, как душа моя отобразила бога бесконечного! Друг мой! Мне с этим не совладать, открывающееся великолепие меня уничтожает.

12 мая

Не знаю, пленительные ли духи витают в этих местах, или это мое пылкое воображение все кругом обращает в рай. Есть тут, неподалеку от города, ключ. К этому ключу я приворожен, подобно Мелузине и ее сестрам. – Сходишь с пригорка и оказываешься перед глубокой нишей; спускаешься ступенек на двадцать и там, внизу, из мраморной скалы бьет прозрачная струя. Невысокие стены, окружающие это место, прикрывающие его высокие деревья, царящая в нем прохлада, – есть тут нечто столь же заманчивое, сколь и настораживающее. Не проходит дня, чтобы я не посидел здесь хотя бы часок. Девушки ходят сюда из города по воду, – дело обыденное и насущно необходимое, прежде его не чурались и царские дочери. Когда я тут сижу, я как бы воочию вижу патриархальный мир, вижу, как они, все прародители наши, знакомятся и тут же у колодца сватаются, и как над колодцами и источниками парят благодатные духи. О, тот, кому не случилось летним днем после утомительного странствования освежиться у студеного ключа, не поймет этого чувства.

13 мая

Ты спрашиваешь, не переслать ли мне книги? Бога ради, милый, сними с меня это бремя. Не хочу я, чтобы меня снова поучали, подбодряли и поощряли, сердце мое и без того кипит, мне нужна убаюкивающая песня, и лучше моего Гомера ничего мне не сыскать. Я пытаюсь порой утихомирить свою

возмущенную кровь, потому ты и не видал сердца переменчивей моего. Милый, тебе ли это объяснять, когда тебе так часто доводилось видеть меня мятущимся от скорби к разгулу, от сладостной меланхолии к губительной страсти? Вот я и ублажаю свое сердце как больного ребенка, -- каждая его прихоть исполняется. Разглашать это не надо. Найдутся люди, готовые меня осудить.

15 мая

Горожане из простонародья меня уже знают и любят, в особенности дети. Сперва, когда я к ним обращался, по дружески расспрашивая о том о сем, кое-кому казалось, что я хочу над ними посмеяться, и от меня отделялись довольно бесцеремонно. Но я не обижался, а только живее ощутил то, что замечал уже не раз: люди известного положения всегда будут чураться простого народа, боясь уронить себя близостью к нему, попадаютя однако бездельники и просто шалопаи, готовые для вида снизойти к бедному люду, чтобы тем сильнее дать ему почувствовать свое превосходство.

Я убежден, что мы не равны и равными быть не можем, и все же стою на том, что каждый, кто, не желая ронять свое достоинство, решает держаться в стороне от так называемой черни, подлежит осуждению, как трус, скрывающийся от врага, чтобы не оказаться побежденным.

На днях пришел я к источнику и застал там молоденькую служанку: кувшин ее стоял на нижней ступеньке, а сама она озиралась, не идет ли кто из подружек, кто помог бы поставить его на голову. Я спустился и оглядел ее. -- "Не могу ли я вам помочь? -- спросил я. Девушка залилась краской. -- "О, нет, сударь!" -- ответила она. -- "Не стесняйтесь". -- Она поправила на голове кружок, и я помог ей. Она поблагодарила и стала подниматься.

17 мая

Я завел всевозможные знакомства, хотя общества еще не обрел. Не знаю, что во мне находят, но многим я нравлюсь, ко мне тянутся, и я огорчаюсь, когда потом пути наши расходятся. Если ты спросишь, что здесь за люди, придется признаться: "Как всюду!". Таков однообразный удел рода людского. Большинство чуть ли не беспрестанно гнет спину, чтобы просуществовать, а мгновения, которые остаются свободными,

так людей страшат, что они рады любыми средствами от них избавиться. Вот он удел человеческий.

Впрочем, народ тут недурной! Если с ним я временами забываю себя и наслаждаюсь еще доступной человеку радостью посмеяться от всего сердца за церемонной трапезой, затеять в подходящую минуту танцы или катанье или что-нибудь в таком роде, мне это всегда полезно; не надо лишь припоминать, что во мне дремлют и другие силы, пропадающие напрасно, которые к тому же приходится усердно скрывать. О, как от этого сердце сжимается! Да что уж тут! Не судьба нашему брату быть понятым.

Ах отчего не стало подруги моих юных дней! И зачем я звал ее! – Сказать бы себе: безумец, ты ищешь то, чего не сыскать в этом мире, но ведь она была, я ощущал, что у нее за сердце и что за душа, и казался себе при ней куда больше, чем был, потому что был всем, чем могу стать. Боже милостивый! Пропадала ли тогда без пользы хоть малая частица моих душевных сил? Не сумел я разве явить при ней необычайную восприимчивость сердца к природе? И разве не становилось наше общение нескончаемым переплетением тончайших чувствований и пронзительнейших острот, и не были все они, вплоть до самых озорных, отмечены печатью гения? Каково же ныне! – Увы, годы, которых у нее за плечами было больше, первой свели ее в могилу. Никогда я ее не забуду, не забуду ее ясный ум и неземное терпение.

Встретил я на днях некоего Ф..., прямодушного юношу с располагающей физиономией. Он только что окончил Университет и, не считая себя таким уж мудрым, все же уверен, что знает больше других. По всему видно, что учился он усердно, познания у него и впрямь изрядные. Прослышав, что я много рисую и знаю по-гречески (и то и другое здесь в диковинку), он явился ко мне пощеголять своей начитанностью от Баттё до Вуда и от Пиля до Винкельмана, и уверял, что насквозь проштудировал всю первую часть "Теории" Зулцера, а еще у него есть рукопись Хайне об античности. Я не стал в это вдаваться.

Появилось у меня тут еще одно славное знакомство, – с княжеским управителем, человеком прямым и чистосердечным. Говорят, не наладуешься, видя его среди детей, которых у него девять, особенно носятся с его старшей дочерью. Он звал меня в гости и не сегодня-завтра я к нему схожу. Живет он в полутора часах отсюда, в княжьем охотничьем домике, куда ему разрешено было переселиться

после кончины жены, поскольку жизнь в городе, в присутственном месте, стала для него мукой.

Столкнулся я и кое с какими кривляющимися оригиналами, в которых все невыносимо, но всего несносней их дружеские чувства.

Будь здоров! Письмо должно придтись тебе по вкусу, поскольку это просто рассказ.

22 мая

Что наша жизнь лишь сон, казалось уже многим, и меня тоже одолевает такое чувство. Когда я вижу пределы, в которых стиснута присущая человеку способность творить и постигать, когда я обнаруживаю, что вся деятельность идет в угоду потребностям, обусловленным одной только задачей продлить наше убогое существование, а умиротворение по части определенных научных проблем есть просто-напросто мечта смирившихся, изображающих на стенах своей камеры разнообразных персонажей и лучезарные ландшафты, – Вильгельм, от всего этого я немею. Я ухожу в себя, и обретаю целый мир. Впрочем, тоже скорее смутно предчувствуя и вождедая, нежели наяву и во плоти. И все тогда предо мной расплывается, и снова я, как сквозь дрему, улыбаюсь миру.

Все просвещеннейшие учителя и гувернеры сходятся на том, что дети не знают причин своих желаний, но ведь и взрослые, как дети, ступают по земле, шатаясь, и тоже не знают, откуда пришли и куда идут, и так же мало стремятся к достойной цели, и так же точно правят ими с помощью пряников, пирожных и березовой каши, – никто не хочет это признавать, а, по-моему, это ясно как день.

Не скрою от тебя, – наперед зная, что ты ответишь, – по мне счастливы те, кто, как дети, живы нынешним днем, возьмется со своими куклами, раздевают их и одевают, и с благоговением подбираются к буфету, в который мама заперла пирог, а чуть ухватят лакомство, уписывают за обе щеки и кричат: "Добавки!" Вот блаженные создания! Не худо и тем, кто пустые свои занятия и даже сердечные влечения привык ослепительно величать и выставлять роду человеческому как великие деяния во имя общей пользы и общего блага. Хорошо тому, кто этак может! Но кто по кротости своей понимает, к чему все это сводится, кто видит как всякий, кому повезло, усердствует, подстригая свой садочек под райский сад, и даже неудачник, кряхтящий под своей ношей, шагает, не отступаясь,

и все в равной мере норовят минутой дольше видеть солнце, – тот безмолвствует, созидая свой мир в себе, и счастлив тем, что он человек. И тем еще, что как он ни задавлен, в сердце у него всегда живет сладкий вкус свободы и мысль, что эту тюрьму он сможет покинуть, когда ему заблагорассудится.

26 мая

С давних пор знаком тебе мой обычай уединяться, сыскав себе где-нибудь в укромном местечке убежище, пускай совсем даже бесхитростное. Вот и здесь нашелся пленяющий меня приют.

От города около часа ходьбы до селения именуемого Вальхайм¹. Оно занято расположилось на холме, и когда идешь к нему верхней тропкой, разом видна вся долина. Славная трактирщица, услужливая и не по годам бойкая, подносит вино, пиво, кофе, а всего тут милей – две липы, привольно раскинувшимися ветвями прикрывающие площадь перед церковью, со всех сторон обстроенную избами, амбарами и оградами. Напасть на такое укромное и уютное местечко не просто. Мне выносят туда из трактира столик со стулом, и я пью кофе и читаю своего Гомера. Когда я впервые забрел ненароком среди бела дня под липы, там никого не было. Все ушли в поле, только мальчонка лет четырех сидел на земле, обеими руками и грудью подпирая усевшегося у него меж ног чуть ли не полугодовалого, которому он служил своего рода креслом, и хоть черные его глазенки проворно зыркали по сторонам, сам он не шелохнулся. Меня позабавил их вид: я присел на стоявший напротив плуг и с великим удовольствием стал зарисовывать эту братскую позу. Прихватил изгородь, ворота амбара, разбитые колеса от телеги, все, как оно было, и, потратив час, обнаружил, что получился ладный и любопытный рисунок, в котором я и малости не примыслил. Это укрепило мое стремление держаться впредь одной лишь природы. Только она бесконечно богата, только она формирует большого художника. В пользу канонов можно сказать многое, приблизительно столько же, сколько можно бы сказать в честь законности и правопорядка. Конечно, человек, воспитанный на канонах, не сделает ничего безвкусного и дурного, так же как возвращенный в закон и благопристойности

* Читателю не стоит тратить силы на поиски упомянутых здесь мест: мы были вынуждены изменить обозначенные в оригинале реальные названия

никогда не окажется несносным соседом или заядлым грешником; и однако же, что бы там ни говорили, все каноны подрывают живое чувство природы и мешают верному ее изъявлению. По-твоему, я чересчур суров! Они лишь вводят в рамки, подстригают буйно разросшуюся лозу и т. п. Добрый друг мой, привести тебе пример? Это ведь как с любовью. Сердце юноши всецело принадлежит девушке, все дни он проводит с ней, расточая силы свои и средства на то, чтобы ежеминутно демонстрировать ей свою преданность. И вот является мещанин, состоящий на государственной службе, и принимается его учить: "Прелестный юноша! Любить – дело человеческое, но любите, как человек! Положенные часы отдавайте работе, а досуг посвятите своей девушке. Считайте свои деньги, и если сверх идущего на насущные потребности что-то останется, не заказано и подарочек ей сделать, только не слишком часто, а как-нибудь в день рождения или в именины и т. п." Кто последует совету, тот, конечно, дельный молодой человек, и я готов любому князю рекомендовать его в должностные лица, но только с любовью его покончено, а если он художник, то и с искусством тоже. О, други, отчего так редко несетя буйным потоком гений, так редко высокий его прилив потрясает смятенные ваши души? – Да потому, милые, что на обоих берегах живут предусмотрительные люди, сознающие, что их дачки, садочки и грядочки будут снесены и размыты, и загодя роющие рвы и ставящие плотины, чтобы отвести грозную опасность.

27 мая

Я спохватился, что упиваясь аналогиями и декламацией, совсем позабыл тебе досказать про детей. Чуть не два часа просидел я на плуге, отдавшись ощущениям живописца, довольно сумбурно пересказанным в предыдущем письме. А под вечер к детям, которые за все это время не шевельнулись, устремилась молодая женщина, и не дойдя еще до них, закричала: "Филипс, ты молодец!" Она со мной поздоровалась, я ответил, встал, подошел к ней и осведомился не ее ли это дети. Она кивнула и, сунув старшему половину роголика, взяла на руки малыша и поцеловала его, как может только мать. "Я велела Филипсу -- сказала она -- караулить малыша и пошла со старшим в город за булкой и сахаром, да глиняный казанок для каши еще надо было купить". – Все это я различил в корзине, с которой свалилась покрывка. – "Я хотела сварить Гансу (так

звали малыша) супчик на ужин, да старший мой, шалапут этакий, казанок разбил, когда они наемдни с Филиппом схватились за последки от каши". Я спросил о старшем, и только она сказала, что тот гоняет на лугу гусей, как он прискакал и отдал Филиппу ореховый прут. Продолжая расспросы, я выяснил, что женщина – дочь учителя, а муж ее уехал в Швейцарию получать наследство, оставшееся от родича. "Они его хотели надуть, – сказала она, – на письма не отвечали, вот он сам и поехал. Только бы худого с ним не стряслось, про него и не слыхать". Нелегко было мне от нее отвязаться, я дал детям по крейцеру, и еще один ей, чтобы купить младшему рогалик к супу, когда доведется быть в городе, и мы расстались.

Признаюсь тебе, мой бесценный, когда мне с собой не совладать, душа разом смиряется при виде существа, пребывающего в блаженном неведении по тесному кругу бытия, падающего со дня на день, и не думающего, глядя на падающие листья, ни о чем, кроме того, что наступает зима.

С тех пор я частенько там бывал. Дети совсем ко мне привыкли, когда я пью кофе, им перепадает сахар, а вечером мы делим хлеб с маслом и простоквашу. По воскресеньям они непременно получают свой крейцер; если я не попадаю туда после богослужения, выдавать его приказано трактирщице.

Они освоились, рассказывают мне обо всем, и когда у них соберется много деревенских ребят, меня особенно потешают страсти и откровенность желаний.

Большого труда стоило мне убедить мать не тревожиться, что они досаждают господину.

30 мая

Сказанное мною недавно о живописи относится, конечно, и к поэтическому искусству, надобно лишь узреть совершенство и осмелиться его запечатлеть, но этой, казалось бы, малостью обозначено многое. Видел я сегодня картину, которая, перескажи я ее попросту, стада бы прелестнейшей на свете идиллией, но что такое поэзия, картина, идиллия? Неужто, и приобщаясь к природе, надо ее сперва обгесать?

Если ты ожидаешь после такого вступления чего-то возвышенного и аристократического, ты жестоко разочаруешься, – столь живое сочувствие возбудил во мне деревенский малый. Как обычно, я не сумею связно рассказать, а ты, видимо, как обычно, сочтешь, что я преувеличиваю;

произвел эти диковины на свет опять же Вальхайм, неизменный Вальхайм.

Под липами собралась компания пить кофе. Мне она не подошла и я сумел отговориться.

Из соседнего дома вышел парень и занялся починкой плуга, который я накануне зарисовал. Мне нравилось, как он держится, и я с ним заговорил, спросил как дела, мы быстро сошлись и, как у меня обычно с такими людьми выходит, прониклись доверием друг к другу. Он рассказал, что служит у вдовы, которая обходится с ним совсем не худо. Он столько о ней говорил и так ее восхвалял, что я сразу сообразил: он привязан к ней и телом и душой. Она уже немолодая, говорил он, первый муж обходился с ней скверно, замуж она больше не хочет, и из его рассказа явствовало, что прекраснее и желаннее для него никого нет и ни о чем он так не мечтает, как быть избранным ею, дабы заглушить воспоминания о грехах первого мужа; чтобы ты воочию увидал чистоту помыслов, любовь и преданность этого человека, надо бы все тебе пересказать слово в слово. И потребовалось бы дарование великого поэта, чтобы наглядно представить тебе выражение его лица, благозвучие его голоса и потаенное пламя его очей. Нет, никакими словами не воспроизвести нежность, насквозь его пронизывавшую, и что я тут ни пробуй, выйдет одна пошлость. Совершенно меня тронули его опасения, как бы я не истолковал их отношения ложно и не усомнился в ее добродетельности. Порыв, с которым он говорил о ее сложении, о ее теле, не прельщающем обаянием юности, но властно манящем его и дурманящем, я рискнул припомнить лишь в самой глубине души. В жизни своей не видал я, чтобы неотступное влечение, именуемое чувственным вожделением, было столь чистым и, признаюсь, не представлял себе и не воображал его в такой невинности и чистоте. Не брани меня, если я скажу, что память об этой правдивости жжет мне сердце, а картина преданности и нежности преследует меня, и сам я уже как бы воспламеняюсь, изнемогаю и томлюсь.

Попытаюсь поскорей повидать эту женщину; впрочем, если рассудить здраво, делать это не стоит. Лучше мне глядеть на нее глазами в нее влюбленного, ведь собственным моим глазам она, чего доброго, покажется не такой, какой я вижу ее перед собой сейчас, а зачем губить столь дивное зрелище?

16 июня

Отчего я тебе не пишу? – Вроде бы разумный человек, а такое спрашиваешь. Мог бы смекнуть, что я в полном здравии и более того... Короче говоря, у меня завелось знакомство, которое взяло за душу. Я, кажется... сам не знаю...

Не просто будет по порядку тебе рассказать, как это я сподобился познакомиться с прелестнейшим существом. Я рад и счастлив, и, стало быть, на объективное изложение событий не способен.

Это ангел небесный! Тыфу ты, пропасть, всякий ведь так говорит о своем предмете, не правда ли? И однако я не в состоянии тебе объяснить как она хороша и чем она хороша, могу только сказать, что я потерял голову.

Так она чистосердечна и умна, такой доброты и так тверда духом, и столько в ней умиротворенности, при том, что повседневная жизнь ее полна дел...

Все сказанное, впрочем, лишь вульгарная болтовня, уродливые абстракции, не отражающие ни единого свойства ее натуры. Когда-нибудь..., нет, не когда-нибудь, а сейчас же я все тебе расскажу. Не теперь, так никогда. Потому что, признаюсь, покамест я пишу, я уже трижды порывался кинуть перо, оседлать коня и умчаться. Хоть с утра себе поклялся никуда не ездить, все же каждый миг подбегаю к окошку взглянуть высоко ли еще солнце...

Не сумел я себя пересилить, мне надо было к ней. Вот я и воротился, Вильгельм, поужинаю теперь хлебом с маслом и буду тебе писать. Какое блаженство наблюдать ее среди веселых и славных ребяток, ее восьмерых сестренок и братишек!..

Если я и дальше так буду, ты ничего в толк не возьмешь. Но ты слушай, я заставлю себя все рассказать подробно.

Недавно я тебе писал о своем знакомстве с княжеским управителем С. и о том, что он приглашал меня, не откладывая, его навестить в его отшельническом уединении или, лучше сказать, в его маленьком королевстве. Я оставил это без внимания и, должно быть, никогда бы там не оказался, не открой мне случай, что за сокровище скрыто в этом безмятежном краю.

Наши молодые люди устраивали за городом бал, на котором и мне хотелось побывать. Я пригласил с собой одну здешнюю девушку, добрую, красивую, хоть и совсем пустынькую, и мы сговорились, что я возьму карету, чтобы с

моей дамой и ее кузиной отправиться к месту веселья, а по дороге заедем за Шарлоттой С. Когда мы по широкой просеке катили к охотничьему домику, моя приятельница сказала: "Вам предстоит познакомиться с очаровательной особой!" "Но вы – предостерегала кузина – не вздумайте влюбиться!" "Да почему же?" – спросил я. И в ответ услышал: "Она уже помолвлена с достойным человеком, он теперь поехал приводить после смерти отца свои дела в порядок и определяться на солидное место". Мне все это было совершенно безразлично.

Солнцу оставалось еще минут пятнадцать, чтобы скрыться за горами, когда мы подъехали к воротам. Было душно, и девицы выражали опасения по поводу грозы, которая вроде бы собиралась, застилая горизонт унылыми бело-серыми облаками. Я рассеял их страх своей самоуверенностью по части метеорологии, но сам-то начинал опасаться, что наше увеселение под угрозой.

Я вылез из кареты, и прислуга вышедшая к воротам попросила нас минутку потерпеть, мамзель Лоттхен должна сейчас подойти. Через двор я двинулся к добротному дому и едва, поднявшись по ступеням, ступил в помещение, мне бросилась в глаза сцена, прелестней которой я не видал. Шестеро детей от одиннадцати до двух лет толклись в передней вокруг стройной девушки среднего роста, одетой в простое белое платье с розовой отделкой на груди и на рукавах. Она держала черный каравай и каждому из обступивших ее малышей отрезала по куску, сообразно с возрастом и аппетитом каждого; у нее это выходило как-то очень сердечно, а они, протягивая вверх ручонки, безыскусно произнося "спасибо", прежде чем им отрезали кусок, и получив свой ужин, убегали или же, если были тише нравом, смиренно шли к воротам, чтобы поглядеть на незнакомых людей и на карету, которая увезет их Лотту. "Простите, – сказала она, что обременяю вас и вынуждаю дам себя ждать. Наряджаясь и давая всякие распоряжения по дому на то время, что меня не будет, я совсем позабыла детей накормить, а они хотят получить свой кусок непременно из моих рук". Я сказал ей какой-то незначущий комплимент, а вся душа моя принадлежала ее облику, ее манере говорить и себя вести, и только я освоился с этой неожиданностью, как она убежала в комнату за веером и перчатками. Дети разглядывали меня, держась поодаль, и я подошел к младшему – крохе с блаженнейшей физиономией. Он отступил, но тут вернулась Лотта и сказала: "Луи, дай дяде ручку". Малыш бесхитростно это сделал, и я не удержался, –

хоть из носика у него текли слюны, его поцеловал, а подавая ей руку, сказал: "Дяде? Вы в самом деле считаете, что я достоин счастья быть с Вами в родстве?" – "О, – ответила она, беспечно улыбаясь, – у нас родня обильная и мне не хотелось бы думать, что Вы хуже всех моих родственников". По дороге она велела Софи, старшей после себя сестре, девочке лет одиннадцати, хорошенько смотреть за детьми и передать поклон папе, когда он вернется, совершив свою верховую прогулку. Малышам она сказала что надо слушать сестру Софи, как будто это она сама, и почти все с готовностью обещали. Лишь маленькая белянка лет шести высунулась и вставила, "Но ведь она же не то, что ты Лотта, мы же тебя любим больше!" Двое мальчиков постарше залезли на запятки, и когда они дали слово не дразнить друг друга и крепко держаться, она, по моей просьбе, разрешила импрокатиться до леса.

Только мы уселись, только успели девицы обменяться приветствиями и соображениями о нарядах и, прежде всего, о шляпках, только взялись чехвостить всех предполагаемых гостей, как Лотта велела кучеру остановиться, а братьям слезать; оба они пожелали еще раз поцеловать ей руку, что старший сделал со всей нежностью, на которую можно быть уже способным в пятнадцать лет, а второй задорно и беззаботно. Она еще раз наказала кланяться малышам, и мы поехали.

Кузина поинтересовалась дочитала ли она книгу, которую та ей на днях посылала. "Нет, – сказала Лотта, – она мне не нравится, я могу ее вернуть. Да и предыдущая была не лучше." Я поразился, когда спросив о каких книгах речь, услышал ее ответ...² Все что она говорила, я находил незаурядным, и в каждом слове видел новое очарование, черты ее лица по-новому одухотворялись и мне виделось в них все больше и больше удовольствия от того, что она чувствовала, что я ее понимаю.

"Когда я была моложе – сказала она – я больше всего на свете любила романы. Один господь знает, как сладостно мне было в воскресный день сесть в уголке и всем сердцем отдаться счастливой и горькой участи какой-нибудь мисс Дженни. Не скажу, что сейчас для меня в этом нет ничего завлекательного. Но раз уж я теперь не часто раскрываю книгу,

* Нам показалось необходимым изъять это место, чтобы не давать никому оснований жаловаться. Впрочем, по сути-то дела, что писателю до суждения одной девушки или одного переменчивого молодого человека?

хочется, чтоб она была и впрямь по душе. И мне всего больше нравится тот писатель, у которого я обнаруживаю свой мир, у которого происходит то же, что и вокруг меня, и повествование которого меня занимает и задевает как собственная жизнь дома; она, разумеется, не рай, но все же источник невыразимого блаженства”.

Я старался не выдать, как тронуло меня услышанное. Да, признаться, не очень тут преуспел. Услыхав сколь верно она мимоходом заговорила о "Векфильдском священнике" и о...³ я уже не владел собой, и сказал ей все, что имел, и только после, когда Лотта позаботилась о том, чтобы в беседе участвовали и наши попутчицы, заметил, что они просидели все это время, пяля на нас глаза как бы со стороны. Кузина не раз меня озирала, хмыкая носом, но мне было решительно все равно.

Разговор коснулся склонности к танцам. "Если даже страсть к танцам – грех, – сказала Лотта, – я все равно должна сознаться, что они для меня превыше всего". Когда тяжело на сердце, я побарабаню на своем расстроенном клавесине какой-нибудь контрданс, и опять все хорошо."

О, как услаждали меня за разговором ее черные глаза! Как притягивали душу ее полные жизни губы и целомудренно цветущие щеки! Как постигал я прелесть ее речей, зачастую не слыша ни единого ее слова! Тебе это должно быть понятно, ты ведь меня знаешь. Короче, когда мы остановились перед виллой, я вышел из кареты словно во сне, до того отдавшись в сумерках своим мечтаньям, что едва слышал музыку, которая неслась навстречу из ярко освещенного зала.

Два господина – Одран и некто Н. Н. – поди тут упомни все имена, – кавалеры кузины и Лотты, встретили нас прямо у кареты, схватили своих дам, и я тоже повел свою наверх.

В менюэтах мы то и дело шли навстречу друг другу; я приглашал одну девицу за другой, и, как нарочно, самые несносные никак не догадывались подать кому-нибудь руку и отпустить меня. Лотта со своим партнером начали англес, и ты без труда поймешь, как было мне приятно, когда очередную фигуру они должны были выполнить с нами. Надо видеть, как она танцует! Понимаешь, она всем сердцем и всей душой в танце, все тело ее – сама гармония, и так она безмятежна, так естественна, как если бы в этом было для нее все, как если бы

* Здесь также опущены имена некоторых отечественных писателей. Удостоенный Лоттой одобрения, конечно, ощутит это сердцем, читая сию страницу, а больше никому знать о том не надобно.

ни о чем больше она не думала, ничего больше не ощущала; и действительно в эти мгновения все другое для нее отступает.

Я пригласил ее на второй контрданс, она мне обещала третий и с чарующей прямоотой сообщила, что особенно ей по сердцу вальс. "Здесь не принято, – продолжала она, – чтобы во время вальса пары расстраивались, но мой кавалер вальсирует плохо и будет благодарен, если я сниму с него этот труд. Ваша дама тоже этого не умеет и не любит, а вы, я еще в англезе заметила, вальсируете прекрасно; стало быть, если хотите вальс танцевать со мной, ступайте к моему кавалеру за разрешением, а я пойду к вашей даме". Я обещал, и мы условились, что ее партнер тем временем будет развлекать мою партнершу.

И вот началось, и мы с восторгом отдались выделянию всевозможных па. Как обворожительно, как легко она двигалась! Но только стали мы вальсировать и закружились как должно, пошла, конечно, неразбериха, поскольку большинство этого не умеет. Мы были благоразумны и дали им выплясаться, а когда самые неумейки очистили место, мы, как и Отран со своей дамой, вышли вперед и не оплошали. Никогда еще это не выходило у меня с такой легкостью. Я на себя был не похож. Держать в объятиях прелестнейшее создание, нестись с ней, как ураган, и... Вильгельм, начистоту скажу: я дал себе клятву, что никогда не допущу, чтобы девушка, которую я люблю и на которой хочу жениться, вальсировала с кем-то кроме меня, даже если бы мне это стоило жизни. Ты меня понимаешь!

Несколько кругов мы просто прошли по залу, чтобы перевести дух. Потом она села, последние уцелевшие еще апельсины, которые мне удалось схватить, нас взбодрили, но от каждой дольки, уделенной ею приличия ради не слишком деликатной соседке, у меня сжималось сердце.

В третьем англезе мы шли второй парой. Когда мы проносились в черед танцующих и я с невыразимым наслаждением прикинул рукой к ее руке, не отводя взора от ее очей, излучавших неподдельную и чистую радость, мы миновали женщину, еще раньше обратившую на себя мое внимание приятным выражением не очень уже молодого лица. Поглядев на Лотту, она улыбнулась, погрозила ей пальцем и вдогонку дважды со значением бросила имя Альберт.

"Если допрос мой не слишком дерзостен, кто такой Альберт?" – спросил я у Лотты. Она намеревалась ответить, но тут пришлось нам расстаться, чтобы проделать большую

восьмерку, когда же мы вновь соединились, чело ее мне показалось задумчивым. "К чему отпираться", – сказала она, подавая мне руку для променада, – "Альберт – славный человек, с которым я вроде бы помолвлена". Ничего тут нового для меня не было (девицы говорили мне об этом по дороге) и все же это было нечто совсем новое, потому что прежде не связывалось в моем сознании с ней, которая за несколько мгновений мне стала так дорога. В общем, я смешался, запутался и пошел не туда, так что весь танец едва не развалился, и Лотте пришлось проявить немало сообразительности и настойчивости, чтобы поскорей восстановить порядок.

Танец еще продолжался, когда молнии, давно уже озарявшие горизонт, хотя я все время уверял, что это просто сполохи, засверкали ярче и гром заглушил музыку. Три девицы кинулись в сторону, кавалеры за ними, танец совсем расстроился и музыка оборвалась. Не удивительно, что несчастье или угроза, сваливаясь на нас в радостную минуту, поражают глубже, чем обыкновенно, отчасти по контрасту, наглядно дающему себя знать, но отчасти и даже главным образом потому, что чувства наши обнажены и стало быть воспринимают быстрее. Лишь этому я приписываю удивительные штуки, какие подчас выкидывают женщины. Самая разумная села в угол спиной к окну и заткнула уши. Другая, встав на колени, уткнула ей голову в подол. Третья протиснулась меж ними и, рыдая, обнимала своих сестриц. Одни хотели домой, у других, хуже понимавших что они делают, не хватало внутренней силы, чтобы устоять перед лихостью наших молодых шалопаев, не жалевших труда, чтобы еще на губах прекрасных страдалиц перехватить адресованные небесам робкие моления. Некоторые из мужчин, желая спокойно выкурить трубочку, пошли вниз, остальное же общество откликнулось на приглашение хозяйки, догадавшейся перевести нас в комнату с гардинами и ставнями. Только мы туда перебрались, Лотта стала расставлять по кругу стулья и, когда по ее просьбе все уселись, предложила поиграть.

Я заметил, что многие, обольщаясь лакомым фантом, уже облизывали губы и распрямлялись. "Мы играем по счету" – сказала Лотта, – "Слушайте внимательно! Я иду по кругу справа налево, а вы точно так же считаете – каждый называет свой номер по порядку и так до тысячи, и чтобы пулей, а кто замешкается или ошибется, – получает пощечину". И весело

же было на это глядеть! Подняв руку, она пошла по кругу. "Первый" – вымолвил первый, "Второй" – сказал его сосед, "Третий" – произнес следующий и так пошло. Тогда она зашагала быстрее, еще быстрее; кто-то ошибся: хлоп! – пощечина; от смеха оплошал следующий и опять хлоп! И все быстрее. Я сам схватил две оплеухи и с удовольствием отметил про себя, что они покрепче тех, что она раздавала остальным. Не добравшись до тысячи, игра завершилась всеобщим хохотом и грохотом. Добрые знакомые стали собираться кучками, гроза миновала, и следуя за Лоттой, я пошел в зал. Мимоходом она бросила: "Получая пощечины, они и о грозе и вообще обо всем позабыли!" Ответить я не сумел. Она продолжала: "Я ужасная трусиха, но стараясь держаться, чтобы других поддержать, сама осмелела". Мы подошли к окну. В отдалении еще гремели раскаты, а щедрый дождь нисходил на землю и бодрящие благоухания, напоив разогревшийся воздух, подымались к нам. Она стояла у окна, облокотясь, и охватывая взором даль, но взглянула вдруг на небеса и на меня, и я увидел, что глаза ее полны слез; она положила мне руку на руку и сказала: "Клопшток!" Я тут же вспомнил прекрасную оду, о которой она подумала, и отдался течению чувств, нахлынувших по ее знаку. Я с ними не совладал и, плача от счастья, склонился и поцеловал ей руку. И опять глянул ей в глаза... О, благородный муж! Увидать бы тебе священный трепет, пробужденный тобой в этих очах, и не слышать бы мне твое имя, поминаемым зачастую лишь глумления ради!

19 июня

Не помню уж на каком месте прервал я прошлый раз свое повествование, помню только, что было два часа ночи, когда я добрался до кровати. И кабы мне все это тебе не писать, а изъяснять в разговоре, я, должно быть, держал бы тебя до утра.

Про то, что произошло, когда мы возвращались, я еще не говорил, но и сегодня нет на это времени.

Занималась дивная утренняя заря. По сторонам – орошенный лес и посвежевшая земля. Приятельницы наши задремали. Она спросила не хочется ли мне того же; из-за нее не надо себя перебарывать. "Покамест на меня смотрят эти глаза, – сказал я упорно на нее глядя, – мне такая опасность не грозит!" И оба мы продержались до самых ее ворот; прислуга тихонько отворила и в ответ на ее расспросы завершила, что отец

и малыши в порядке и все еще спят. Тут я с ней и простился, испросив позволения повидать ее сегодня же; она согласилась и я опять явился; и с этой поры солнце, луна и звезды могут вытворять себе, что им вздумается, все равно я не знаю день теперь или ночь, и окружающий мир перестал для меня существовать.

21 июня

Дни мои нынче исполнены счастья, такие бог бережет для своих святых; и что бы со мной ни стряслось, я не посмею сказать, что не вкусил радости, самой, что ни на есть чистой радости, какая бывает в жизни. – Ты помнишь мой Вальхайм; я совсем туда перебрался, оттуда мне полчаса до Лотты, там постигаю я себя самого и счастье доступное человеку.

Думал ли я, беря обыкновение гулять до Вальхайма, что от него рукой подать до небес. Как часто во время дальних прогулок, то с горы, то с приречного лужка открывался мне охотничий домик, вместивший ныне все мои стремления!

Милый Вильгельм, частенько я раздумывал о страсти человека к скитаниям, к неведомым далям, к постоянным открытиям, и вместе с тем о внутренней его склонности смиряться с ограничениями и катить по накатанной колее, оставаясь безучастным к окружающему.

Все-таки это чудо: когда я сюда приехал и увидел долину с холма, все кругом влекло меня к себе. Там лесок! – Вот бы спрятаться в тени! – Там гора! – Вот бы оглядеть весь край с ее вершины! – И эти цепи холмов и укромные поляны! – Вот бы укрыться там! – И мчался туда, и возвращался, не обретая желанного. Даль – все равно, что грядущее. Непроглядный туман обступает душу, оттого и чувства наши расплываются, как расплывается все перед глазами, и мы томимся, ах! – ведь хочется отдать всего себя и постичь блаженство жить единым, огромным, светлым чувством. – Но, увы, когда обретаешь искомое, когда "Там" оказывается "Здесь", ничто не меняется, мы остаемся при своей убогости, при своей ограниченности, и душа тоскует по упущенному утешению.

Да и самый непоседливый бродяга так же точно жаждет вернуться в конце концов на родину и обретает в своей халупе, на груди супруги, в окружении детей и в хлопотах о них, то счастье, которое напрасно искал по всему свету.

Когда поутру, едва встанет солнце, я уйду в свой Вальхайм и там на грядках перед трактором собираю себе сладкий горошек и усаживаюсь его чистить, почитывая своего Гомера, когда выбираю на кухне чугунок, наливаю туда масла и ставлю еду на огонь, прикрыв ее и усевшись рядышком, чтобы помешивать, я живо себе представляю, как шальные женихи Пенелопы резали, разделявали и жарили быков и свиней. Ничто не приносит мне столь неподдельного и чистого удовлетворения, как приметы патриархальной жизни, которые, благодарение господу, я имею возможность без всякой позы ввести в собственный обиход.

Как хорошо, что сердцу моему доступна обыденная, простодушная человеческая радость – положить на стол кочан, который сам вырастил, и не только насладиться тем, что у тебя теперь есть капуста, но в единый миг заново вкусить прелесть всех отданных ей дней, светлого утра, когда ее сажал, и тихих вечеров, когда ее поливал и был доволен, что она растет.

29 июня

Позавчера заехал к управителю медик из города и застал меня на полу с лоттинными ребятами, одни на меня залезали, другие меня тормозили, а я их щекотал и вопил с ними вместе. Лекарь, эта доктринерская марионетка, беспрестанно поправляющая, куда куда говорит, свои манжеты и теребящая жабо, нашел, что такое не подобает разумному человеку, у него это было на лице написано. Я впрочем, и ухом не повел, предоставил ему излагать его благоразумные поучения, а сам опять стал строить детям карточные домики, которые они покамест развалили. Он потом бегал по городу и сетовал, что дети управителя и без того перебалованы, а Вертер и вовсе их испортил.

Да, милый Вильгельм, сердцу моему ближе всего дети. Когда я гляжу на них и вижу в ребенке ростки всех достоинств и способностей, которые ему когда-нибудь очень понадобятся, когда я различаю в упрямстве будущую настойчивость и твердый характер, в озорстве – чувство юмора и умение легко сносить житейские тревожения, – и все такое непорочное и цельное, – я опять и опять повторяю золотые слова учителя человечества: "Если не станете, как один из малых сих!". Ведь и поныне, дружочек, с ними, равными нам и даже призванными быть нам примером, мы обращаемся точно с крепостными. – У них не должно быть собственной воли! – А у нас ее разве

нет? Почему же нам такая привилегия? -- Потому что мы старше и умней! – О, боже правый на небеси, ты видишь лишь старых детей и малых детей, а от кого тебе больше радости, сын твой давно уже возвестил. Но они веруют в него и не слушают его, – это тоже старо, – и детей воспитывают по своему подобию, и... Прощай, Вильгельм! Нечего мне про это распространяться.

1 июля

Чем становится Лотта для пораженного недугом, я знаю по своему несчастному сердцу, которое страдает сильнее, чем хворый на одре болезни. Несколько дней она проведет в городе у одной достойной женщины, которая, по утверждению врачей, обречена и хочет, чтобы в последние минуты при ней была Лотта. На прошлой неделе я ездил с ней в Шт... проводить пастора; местечко это в горах и до него около часа. К четырем мы приехали. Лотта взяла с собой вторую сестру. Когда мы входили на укывшийся в тени двух высоких ореховых деревьев церковный двор, на лавке у дверей сидел симпатичный старик, который, увидав Лотту, словно бы духом воспрянул, позабыл про свою суковатую палку и рванулся нам навстречу. Она подбежала к нему, усадила, села рядом, передала поклон от отца и обняла уродливого и грязного малыша, его младшего сыночка – утешение старости. Видел бы ты, как она старика развлекала, как повышала голос, чтобы он, наполовину оглохший, ее слышал, как рассказывала о безвременных смертях молодых здоровых людей и о достоинствах Карлсбада, одобряя его решение отправиться туда предстоящим летом, как говорила, что выглядит он куда лучше, куда бодрей, нежели в последний раз, когда она его видела. – Тем временем я засвидетельствовал свое почтение пасторше. Старик совсем приободрился, и когда я не удержался, чтобы не похвалить прекрасные ореховые деревья, в сладостной тени которых мы сидели, он стал, хоть ему это и было нелегко, рассказывать их историю. "Про старое – сказал он, – мы не знаем, кто его посадил: одни называют одного, другие другого пастора. А что до молодого, которое там сзади, они одногодки с моей женой – в октябре пятьдесят будет. Ее отец утром его посадил, а под вечер она родилась. Он до меня здесь служил, и до чего любил он это дерево, словами не сказать; да и я, понятно, не меньше люблю. Жена моя под ним на бревнах сидела с вязаньем, когда я двадцать семь лет назад

впервые сюда пришел, еще бедным студентом". Лотта спросила про его дочку; выяснилось, что она пошла с господином Шмидтом к работникам на луг, а старик все рассказывал, как полюбил его прежний пастор, и его дочь тоже, и как он стал сперва его викарием, а после и преемником. Рассказ подходил к концу, когда садом пришла пасторская дочка с упомянутым господином Шмидтом. Она тепло и сердечно поздоровалась с Лоттой и, надо сказать, показалась мне недурна: из тех расторопных, ладных брюнеток, что помогут скоротать в деревне время. Ее возлюбленный (а мы сразу и восприняли господина Шмидта в этом качестве), изящный, но тихий человек, не вмешивался в наши разговоры, хотя Лотта все время и пыталась его в них втянуть. Больше всего меня опечалило, что нежелание с нами знаться шло, как показалось мне по его лицу, скорее от упрямства и дурного настроения, чем от скудости ума. Впоследствии это, к сожалению, стало еще ясней; когда во время прогулки Фредерика шла вместе с Лоттой, а значит и со мной, лицо этого господина, и без того смуглое, так явственно потемнело, что Лотта поспешила дернуть меня за рукав, давая понять, что я с Фредерикой слишком уж обходителен. Ничто не огорчает меня более нежели то, что люди терзают друг друга, особенно когда молодые люди в расцвете жизни, которым бы наслаждаться всеми ее радостями, отравляют друг другу лучшие дни, и лишь много позднее до них доходит, что пропавшего не воротить. Это не давало мне покоя, и когда мы под вечер вернулись к дому пастора, сели пить молоко и заговорили о мирских радостях и горестях, я не мог упустить случай и не высказаться от всего сердца против дурного настроения. "Мы часто жалуемся, – начал я, – что хороших дней мало, а дурных много, и по преимуществу жалуемся напрасно. Будь сердце наше всегда раскрыто добру, которое господь нам ниспосылает всякий день, у нас нашлись бы силы и горе вынести, если оно придет" – "Но наши чувства не в нашей власти" – возразила пасторша, – "Многое зависит от тела. Если человек нездоров, так и все не по нем". Я согласился и продолжал: "Стало быть, мы должны считать это болезнью и искать от нее лечение!" – "Совершенно справедливо! – сказала Лотта. – Я во всяком случае уверена, что многое зависит от нас самих. Я по себе знаю. Если меня что-то давит и портит мне настроение, я выскочу в сад, погуляю, спою себе один-другой контрданс, и все проходит". – "Именно это я и хотел сказать, воодушевился я. – С дурным настроением как с нерадивостью, да оно и есть

нерадивость. У нас в природе всегда она есть, но стоит собраться с духом, и дело идет на лад, и обретаешь в работе наслаждение". Фредерика была вся внимание, а молодой человек возразил мне, что невозможно управлять собой и уж во всяком случае управлять своими ощущениями. "Мы сейчас говорим о неприятных ощущениях, – ответил я, – от которых всякий рад отделаться, и никому не известно на что у него хватит сил, покуда он их не испытал. И ведь больной-то наверняка побежит ко всем врачам, пойдет на величайшие самоограничения, согласится пить самые горькие снадобья, только бы сохранить свое драгоценное здоровье!" Я увидел, что почтенный старец напрягает слух, чтобы принять участие в нашем споре, и заговорил громче, обращаясь к нему: "Церковь обличает всевозможные грехи, – сказал я, – но никогда я не слышал чтобы с церковной кафедры осудили дурное настроение"⁴. В городе такое надо делать, – сказал старик, – у крестьян плохого настроения не бывает", но признал, что было бы невредно получать порой подобное наставление хотя бы его жене или господину управителю. Все рассмеялись, и он от души посмеялся со всеми, покуда не напал на него кашель, на время прервавший нашу беседу; потом, однако, молодой человек снова взял слово: "Вы назвали дурное настроение грехом, это по-моему уже слишком" – "Никоим образом – ответил я, – то, чем портят жизнь себе и своим ближним, названо так по праву. Разве не довольно того, что мы не умеем принести друг другу счастье, неужели должны мы еще и губить радость, которая достается сердцу ненароком. Покажите мне человека, у которого скверное настроение, но хватает мужества это скрывать и нести свой крест самому, не портя удовольствия окружающим. И разве напротив того, не идет уныние от внутренней неудовлетворенности собственной ничемностью, от неприязни к себе же самому, которая всегда неотделима от зависти, разжигаемой дурацким самомнением? Мы видим, что люди счастливы, а счастливыми их сделали *не мы* – вынести такое невозможно!" Лотта мне улыбнулась, потому что видела с каким я возбуждением говорил, а слезы в очах Фредерики подбили меня продолжать: "Горе тому – сказал я, – кто пользуется своей властью над сердцем другого, чтобы отнять простые радости, которые там произрастают. Никакие подарки, никакие обхаживания, не возместят и

* Об этом теперь имеется прекрасная проповедь Лафатера, среди прочего касающаяся и книги Ионы.

мгновения счастья идущего изнутри, когда оно отравлено нерасположением нашего деспота".

Сердце мое в эту минуту переполнялось, душу охватывало воспоминание о минувших днях, и слезы набежали на глаза.

"Напоминать бы себе про это всякий день!" – воскликнул я, – "Если ты сам не в силах что-нибудь сделать для друзей, чтобы не портить им радости и не умалять счастья, наслаждайся хотя бы заодно с ними. Ведь не дашь ты им утешения, когда изъязвит их души беспощадная старость и отравит печаль."

И когда последняя, страшная болезнь настигнет существо, которому ты загубил молодые годы, и она, совсем уже обессилевшая, будет лежать, глядя невидящими глазами в небеса, и смертный пот выступит на бледном лбу, ты лишь поникнешь перед ее постелью, как проклятый, понимая, что при всех своих возможностях ничем помочь не можешь, и содрогаясь от мысли, что отдал бы все, перепади только гибнущему созданию хоть капля здоровья, хоть искорка бодрости".

Память о подобной картине, ведомой мне вьявь, всей своей мощью обрушилась на меня с этими словами. Утирая платком глаза, я ушел от компании, и только голос Лотты, крикнувшей, что нам пора ехать, вернул мне самообладание. И попрекала же она меня по дороге моей чувствительностью, с которой и погубить себя ничего не стоит! Надо и о себе подумать! – Ангел ты мой! Мне надо жить ради тебя.

6 июля

Она все еще при своей умирающей приятельнице и все такая же, все то же неизменно доброжелательное создание, всюду, куда ни взглянет, облегчающее страдание и приносящее счастье. Вчера вечером она пошла гулять с Марианной и маленькой Мальхен, я знал, что она собиралась, встретил ее, и мы пошли вместе. Часа через полтора мы воротились в город и подошли к источнику, который и прежде пленял меня, а теперь пленяет в тысячу раз сильнее. Лотта присела на каменную загородку, перед которой мы остановились. Я огляделся, и мне тотчас вспомнилось время, когда сердце мое пребывало в одиночестве. "Любезный ключ, – сказал я, – с той поры я не искал отдохновения в твоей прохладе и торопливо проходя мимо, на тебя даже и не глядел!" Я посмотрел вниз и увидел,

что подымающаяся оттуда Мальхен несет воду в стакане, стараясь не расплескать. Я глянул на Лотту и разом ощутил все, что к ней испытываю. Между тем, Мальхен принесла стакан. Марианна протянула к нему руку. "Нет! – закричал ребенок с умильнейшим видом, – Нет, Лотхен, ты первая попробуй!" Я так был поражен детским чистосердечием и добротой, что, не умея выразить свои чувства иначе, поднял и поцеловал ребенка, тотчас же принявшегося кричать и плакать. "Зачем вы это сделали?" – сказала Лотта. Я устыдился. "Пойдем, Мальхен, сказала она, беря девочку за руку и направляясь с ней вниз, помойся быстренько, водичка тут чистая, все и пройдет". И я стоял и глядел, как старательно малышка терла себе щеки мокрыми ручками, веря, что вода чудотворного источника очистит оскверненное место и спасет от бесчестия, какое принесла бы начавшая вдруг расти уродливая борода; вот уже Лотта сказала: "Хватит!", а ребенок все мылся да мылся, должно быть решив, что в подобном случае не лишне и переусердствовать; знаешь, Вильгельм, я и на крестинах никогда так не благоговел, и когда Лотта вернулась наверх, я готов был броситься ей в ноги, как пророку, очистившему от грехов народ.

Вечером я на радостях не удержался и рассказал о происшедшем одному человеку, в котором, зная за ним ум, предполагал и душевность, – ну, и промахнулся же я! Он сказал, что Лотта поступила очень дурно, что детям ничего подобного внушать не следует, ибо это влечет за собой потом неисчислимые ошибки и предрассудки, от которых детей как раз надо заранее оберегать! Тут я вспомнил, что неделей раньше он кого-то крестил, и не стал в это вдаваться, в сердце своем сохранив убеждение, что мы должны обходиться с детьми, как с нами господь, который открывает нам высшее счастье, позволяя восторженно предаваться благостным фантазиям.

8 июля

Какими мы остаемся детьми! Как жаждем единого взгляда! Какими остаемся детьми! – Мы пошли в Вальхайм. Девицы ехали в экипаже, и во время прогулки я решил, что в лоттиных черных глазах... Я болван, прости меня, но видел бы ты эти глаза! Расскажу вкратце (у меня глаза слипаются), дело было так: девицы сели в карету, а вокруг стояли молодой В., Зельштадт, и Одран и я. Через окошко девицы болтали с

веселыми и легкомысленными парнями, а я ловил лоттин взор; о господи, она глядела то на одного, то на другого! Но на меня, на меня, на меня, одинокого и безгласного, она не глядела. Сердце мое тысячу раз ей говорило: прощай! А она меня не замечала. Карета тронулась, я уже чуть не плакал. Я посмотрел ей вслед и увидел как высунулась в окошко лоттина шляпка и Лотта обернулась, чтобы взглянуть – ах, может быть на меня? Милый, так я поныне и пребываю в неизвестности; и в этом мое утешение – быть может она искала меня? Быть может! – Доброй ночи! Какой я еще ребенок!

10 июля

Видал бы ты какой у меня идиотский вид, когда кто-нибудь говорит о ней. Особенно, если меня еще спрашивают как она мне нравится. Нравится! Ненавижу это слово до смерти. Какого сорта человеком надо быть, чтобы Лотта нравилась, а не занимала все мысли и чувства? Нравится! Кто-то меня на днях спросил как мне нравится Оссиан!

11 июля

Госпожа М. очень плоха; я молюсь за ее жизнь, потому что терзаюсь заодно с Лоттой. У одной приятельницы я ее иногда встречаю, и нынче она рассказал мне удивительную вещь. Старик М. сквалыга и жадина, всю жизнь изводил и ущемлял жену, которая, однако, всегда умудрялась как-то изворачиваться. Несколько дней назад, когда врач сказал ей, что она больше не жилица, она позвала мужа (Лотта была в комнате) и сказала ему так: "Я должна тебе открыться, чтобы после моей смерти не пошли кривотолки и неприятности. Хозяйство я вела, стараясь во всем поддержать порядок и сэкономить; но ты уж мне прости, я эти тридцать лет тебя обманывала. Когда мы поженились, ты денег назначил на еду и прочие домашние дела самую малость. И когда хозяйство наше окрепло и доходы выросли, ты все равно не соглашался увеличить сообразно с этим мои еженедельные расходы, да что говорить, сам знаешь, что и в пору самую для нас удачную, ты требовал, чтобы я укладывалась в семь гульденов в неделю. Я с тобой не спорила, но что было надобно сверх того, брала каждую неделю из выручки; кто бы подумал, что хозяйка станет обворовывать кассу. Я ничего не потратила зря, и могла бы, ни в чем не виновная, с миром отойти в вечность, да ведь та,

что возьмется за хозяйство после меня, в толк не возьмет как ей быть, а ты конечно, всегда будешь стоять на том, что твоей первой жене таких денег хватало!"

Мы с Лоттой потолковали о невероятной слепоте человеческой; ведь и не подумает, что не все, должно быть, тут ладно, хоть и сам видит, что семи гульденов хватает на такое, на что бы надобно по меньшей мере вдвое. Но и сам ведь я знавал людей, что не подивились бы, обнаружив у себя в доме принадлежащий пророку кувшинчик, в котором не иссякает масло

13 июля

Нет, я не обманываюсь! Я читаю в ее черных очах неподдельное сострадание к себе и своей судьбе. Да, я чувствую, полагаясь на свое сердце, что она – можно ли мне и могу ли я обозначить этими словами царство небесное, – что она меня любит.

Меня любит! Насколько я становлюсь в собственных глазах достойнее, до чего... – тебе я рискну это сказать, у тебя есть к этому чутье, – до чего я себя почитаю с тех пор, как она меня любит!

Заносчивость это или ощущение реальности? Я не вижу человека, который мог бы вытеснить меня у Лотты из сердца. И все же, когда она говорит о своем женихе, говорит с такой теплотой, с такой любовью, – я чувствую себя как тот, кого лишили вдруг всех званий и чинов и отобрали шпагу.

16 июля

Ах, все жилы мои трепещут, когда я ненароком коснусь пальцем ее пальца или задену под столом ногой ее ногу. Я отшатываюсь, точно от огня, но некая тайная сила снова тянет туда – у меня голова кругом идет. А ее чистое сердце, ее невинная душа и не ведают, как истязают меня эти незначущие сближения. Когда в ходе беседы она возьмет меня за руку или, увлекшись разговором, придвинется ко мне так, что ее небесное дыхание касается моих губ, мне кажется, что я тону, настигнутый штормом. – О, Вильгельм, если я однажды не устою перед этим божеством, перед этой доверчивостью... Ты понимаешь меня. Нет, сердце мое не до такой степени испорчено! Но оно слабое, очень слабое. А разве это уже не порочность?

Она для меня священна. Всякая чувственность в ее присутствии умолкает. Я сам не понимаю что со мной творится при ней, кажется, вся душа моя выворочена наизнанку. С ангельской мощью играет она на клавишине один мотив, так просто и так одухотворенно. Это ее любимая песня, и стоит ей взять первую ноту, как я избавляюсь от всех печалей, мучений и тревог.

Слова о колдовской силе музыки не кажутся мне пустыми. Меня захватывает этот бесхитрый напев. И она зачастую умудряется сыграть его как раз ту минуту, когда я готов пустить себе пулю в лоб. Затмение и смута моей души рассеиваются, и я снова могу свободно дышать.

18 июля

Вильгельм, на что нам жизнь без любви! Она как волшебный фонарь без света. Но вставь лампу и на белой стене тебе предстанут разнообразнейшие картины. Пусть это не более чем мимолетные видения, они все же приносят счастье, когда мы глядим на них невинными очами и волшебный их облик нас обвораживает. Сегодня я к Лотте не попал, никак было не отделаться от гостей. Что мог я придумать? Отправил туда слугу лишь затем, чтобы иметь при себе человека, побывавшего сегодня подле нее. С каким нетерпением я его дожидался, с каким ликованием его встречал. Да я бы ухватил его за шею и расцеловал, кабы стыдно не было.

Говорят, бононский камень, когда кладешь его на солнце, вбирает в себя лучи, а после светится ночью. Так вышло и у меня с этим малым. Сознание того, что глаза ее скользнули по его лицу, по его щекам, по пуговицам его ливреи и воротнику накидки, обратило все это для меня в святыню и драгоценность. Я не отдал бы парня в ту минуту и за тысячу талеров. Славно мне было при нем. — Не дай тебе бог над этим посмеяться? Вильгельм, разве это иллюзия, если от этого так хорошо?

19 июля

"Я ее увижу!" — восклицаю я, просыпаясь поутру и радостно встречая прекрасный рассвет: "я ее увижу!" И на весь день у меня нет больше желаний. Эта надежда все вобрала в себя.

20 июля

Ваша идея, чтобы я отправился с посланником в ..., меня покамест не увлекает. Не очень-то я люблю подчиняться, и к тому же всем нам ведомо, что сей муж – человек довольно паскудный. Матушке, как ты сообщаешь, угодно, чтобы я был при деле. Это меня позабавило. Бездельничая я что ли? И по сути-то не все ли едино горох мне считать или чечевицу? Все на этом свете обращается в грязь, и чтобы в угоду кому-то, самому не испытывая ни страсти, ни нужды, надрываться для денег, или славы, или чего-то такого, надо быть попросту дураком.

24 июля

Поскольку тебе так важно, чтобы я не пренебрегал рисованием, я стараюсь этот сюжет обходить, лишь бы не говорить о том, как мало покамест сделано.

Никогда еще я не был так счастлив, никогда еще мое восприятие природы – вплоть до последнего камешка и травинки, не было полней и глубже, и однако – не знаю, как бы это выразить, – моя способность к изображению ослабела, все в душе моей настолько расплывчато и зыбко, что не совладать ни с единым контуром; все же, пожалуй, будь у меня воск или глина, что-нибудь бы получилось. Вот возьму глины, если так будет продолжаться, и стану разминать, пусть хоть пирожки выходят!

Трижды начинал я рисовать Лотту и трижды оскандалился; это тем более огорчительно, что до сих пор сходство я легко схватывал. Позднее я сделал ее силуэт, придется довольствоваться этим.

26 июля

Конечно, дорогая Лотта, я обо всем позабочусь и все устрою, давайте мне, пожалуйста, побольше поручений и, пожалуйста, почаще. Прошу об одном: не посыпайте песком записочки, которые мне шлете, нынче я на миг прижал к ней губы и на зубах закрипело.

26 июля

Не раз уж я решал встречаться с ней не так часто. Да кто это выдержит! Ежедневно я поддаюсь соблазну и сызнава свято себе обещаю: завтра ты к ней не пойдешь; а на завтра у меня ведь опять находятся неотразимые доводы, и не успеваю оглянуться, как я уже у нее. Или вечером она мне говорит: "Вы ведь завтра будете?" Как тут не пойти? Или она мне дает поручение, и по-моему пристойнее всего самому ей доложить, что сделано; или же день до того хорош, что я уйду в Вальхайм, а когда я туда добрался, до нее остается каких-нибудь полчаса, – я уже слишком близко к ее орбите, – миг, и вот я там. Бабушка моя рассказывала сказку про магнитную гору: приближавшиеся к ней корабли разом лишались всех железных деталей, – гвозди летели к горе, и несчастные страдальцы шли ко дну меж валяющихся друг на друга досок.

30 июля

Альберт приехал и мне надо уходить; окажись он достойнейшим, превосходнейшим человеком, которого я с готовностью признаю во всех отношениях лучше меня, мне все же тяжело было бы видеть, что он обладает всеми этими бесчисленными добродетелями. Обладает! Довольно, Вильгельм, жених на месте! Славный, милый человек, с которым надобно ладить. По счастью, меня не было, когда он прибыл. Это растерзало бы мне сердце. Он, впрочем, до того приличен, что ни разу еще не поцеловал Лотту при мне. Воздай ему господь! За его благоговение перед девушкой я должен его любить. Со мной он радушен, и я догадываюсь, что это скорее лоттина работа, нежели его собственное побуждение; женщины ведь на это ловки, и не даром, они ведь не прогадывают, умудряясь устроить, чтобы двое поклонников сохраняли добрые отношения друг с другом, только это редко удается.

При всем том я не могу отказать Альберту в уважении. Его уравновешенное поведение наглядно противостоит моему буйному нраву, который не спрячешь. Человек он чуткий и понимает, что такое Лотта. У него, пожалуй, не бывает дурного настроения, а по мне, как тебе известно, это – грех, который хуже всякого другого.

Меня он считает человеком толковым, и моя преданность Лотте, мои восторги по поводу любого ее шага обозначают его

успех и тем больше он ее любит. Не берусь судить, терзает ли он ее мелочной ревностью, но на его месте мне бы, во всяком случае, не одолеть этого беса.

Пусть делает, что хочет! Радость, которую приносили мне встречи с Лоттой, все равно пропала. Назвать бывшее глупостью или ослеплением? Как ни называй, обстоятельства говорят сами за себя! – И прежде чем Альберт приехал, я понимал все, что понимаю сегодня, понимал, что не могу на нее посягать, и ведь не посягал, – то есть в той мере, в какой возможно не жаждать обладания существом столь достойным любви. А теперь дуралей руками разводит, пришел, видите ли, в самом деле другой и отбил девушку.

Стиснув зубы, я глумлюсь над своей бедой, но вдвое и втрое яростней глумлюсь я над теми, кто станет меня уверять, что надо покориться судьбе и, поскольку ничего другого быть не может... Избавьте меня от этого дубья! – Я ношусь окрест по лесу, а когда прихожу к Лотте, застаю у нее в саду Альберта, и мне там делать нечего, на меня уже нет удержу, я затеваю разные проказы и всяческие штуки. "Прошу вас, не устраивайте сцен вроде вчерашней" – сказала мне сегодня Лотта, – "Вы ужасны, когда этак забавляетесь". Доверительно тебе скажу, я выискиваю время, когда у него дела, фьюить – и мигом туда, и мне всегда хорошо, когда я застаю ее одну.

8 августа

Что ты, милый Вильгельм, – да я же не о тебе говорил, называя невыносимыми людей, понуждающих нас примириться с неизбежной судьбой. Я и не думал, что ты можешь быть такого мнения. А по существу, ты прав. Одно лишь, мой бесценный, не часто в жизни возникает *или-или*, и в чувствах и в поведении такое же множество оттенков, как переходов от ястребиного носа к курносому.

Не надо, стало быть, обижаться, если соглашаясь со всеми твоими аргументами, я попытаюсь протиснуться между *или-или*.

Или – заявляешь ты – есть надежда жениться на Лотте, или же такой надежды нет. Постарайся, значит, в первом случае добиться своего, достичь исполнения своих желаний, в противном же случае опомнись и попробуй это жалкое чувство преодолеть, пока оно тебя не доконало. Бесценный, сказать-то оно просто, – скоро ведь сказывается!

Можешь ты от несчастного, которого медленно, но верно съедает ползущая по нему болезнь, требовать, чтобы единым ударом кинжала он разом положил конец своим мучениям? Да разве немочь, отнимающая силы, не отняла заодно и решимость, без которой с ней не совладать?

Ты можешь, конечно, ответить мне подобным же парадоксом: разве не лучше руку отдать на отсечение, нежели, робея и колеблясь, ставить на карту свою жизнь? Этого не скажу, и нечего нам одолевать друг друга парадоксами. Хватит, – да, Вильгельм, порой находит на меня решимость сорваться с места, все бросить и ринуться – только бы знать куда.

Вечером.

Подвернулся мне нынче снова мой дневник, которого я с некоторых пор не касался, и меня изумило, до чего ясно я, делая каждый шаг, понимал все на что иду. До чего понятно было мне мое положение, и, однако, я вел себя, как ребенок, и теперь еще я все так ясно вижу, но никаких видов на исправление нет.

10 августа

Не будь я дураком, жизнь моя могла бы стать бесконечно счастливой. Не часто выпадают человеку столь благоприятные обстоятельства, как мне теперь. Ах, известно ведь, что сердце наше само творит свою судьбу. – Стать за своего в таком деликатном семействе, где старик полюбил тебя, как сына, а дети, как родителя, а Лотта, как... – и, наконец, честнейший Альберт, который не препятствует моему счастью никакими капризными выходками, он относится ко мне с дружеской сердечностью, я ему милее всех на свете, не считая Лотты! – Что за наслаждение, Вильгельм, послушать нас, когда мы, прогуливаясь, разговариваем о Лотте; комичнее этой ситуации не сыщешь, а у меня от нее то и дело слезы на глазах.

Он рассказывает мне про лоттину мать, достойнейшую женщину, которая на смертном одре поручила ей дом и детей, а ему доверила Лотту, про то как Лотта с тех пор стала совсем другая, про то, что она по навалившемуся обилию хозяйственных тягот и по серьезности своей впрямь стала матерью, про то, что никакое мгновение не обходится у нее без деятельной любви и без работы, однако же ни живость, ни

легкий характер от этого не исчезают. – Так иду я с ним рядом и собираю по дороге цветы, старательно складываю из них букет, и... кидаю их в протекающий около ручей и гляжу как медленно вода их несет. – Не припомню, писал ли я тебе уже, что Альберт остается здесь и получает должность с приличным окладом, который положил ему двор, где к нему расположены. Немного видал я людей столь собранных и работающих.

12 августа

Воистину, Альберт – самый прекрасный человек на земле. У нас был с ним вчера удивительный случай. Я зашел к нему попрощаться, мне захотелось умчаться в горы, откуда теперь тебе и пишу, и, шагая взад и вперед по комнате, я вдруг заметил его пистолеты. "Одолжи мне в дорогу свои пистолеты" обратился я к нему. "Изволь, – сказал он, -- но тебе придется самому их зарядить, у меня они повешены только для вида". Я снял один, а он продолжал: "С тех пор как моя предусмотрительность надо мной так беззастенчиво подшутила, я к этим штукам не прикасаюсь". Я поинтересовался, что же у него стряслось. "Как-то я, – рассказал он, – прожил у приятеля в деревне месяца три, была у меня пара карманных пистолетов, я их не заряжал, но спал спокойно. В один прекрасный день после обеда шел дождь и я бездельничал, и, сам не пойму отчего, мне в голову взбрело, что на нас могут напасть и тогда могут понадобиться пистолеты, ведь мало ли что... – знаешь, как такое находит. Я тотчас приказал слуге их почистить и зарядить, а он любезничал с девками, хотел их попугать, и вдруг раздался выстрел, шомпол еще торчал в дуле и, вылетев, разодрал одной девке правую ладонь и раздробил большой палец. Ко мне имели претензии, пришлось еще за лечение платить, – с той поры я оружия не заряжаю. Что такое предусмотрительность, друг любезный? К опасности не приноровишься! Впрочем..." – Не буду от тебя скрывать, я Альберта очень люблю, покаду он не доходит до своего *впрочем*, как будто и так не понятно, что из всякого правила бывают исключения. Но до чего этот человек doskonaелен! Скажет что-нибудь в общей форме, недодуманное, не до конца проверенное, и сейчас же начинает переиначивать, уточнять, обуславливать и ограничивать сказанное, покамест ничего не остается. И на сей раз он тоже зашел весьма далеко: я его уже не слушал и мне вдруг пришла фантазия прижать дуло пистолета ко лбу над правым глазом.

"Фу, – сказал Альберт, выхватывая у меня пистолет, – это еще что?" "Он же не заряжен" – сказал я. "А если даже так, что это такое?" – резко бросил он. "Я представить себе не могу, до какого безрассудства человеку надо дойти, чтобы стрелять в себя; самая мысль об этом мне отвратительна".

"Что вы, однако, за существа! – не удержался я, – все вам надо обозначить: то глупо, это умно, то хорошо, это дурно. А с чего бы? Вы что, постигли внутреннюю подоплеку сего деяния? И можете точно проследить причины, по которым такое случилось и не могло не случиться? Делай вы это, приговоры ваши не были бы столь скоропалительны".

"Но ты должен признать, – сказал Альберт, – что есть деяния, остающиеся греховными, какие бы мотивы к ним не побуждали!". Я пожал плечами и согласился. "Но друг мой, – начал я снова, – бывают же все-таки исключения и из этого правила. Разумеется, воровстве – порок: но что положено человеку, который стал воровать, чтобы спасти себя и своих близких от голодной смерти – наказание или сострадание? Кто бросит первый камень в мужа, который в праведном гневе прикончит неверную жену и ее жалкого оболъстителя? Или в девушку, которая в блаженную минуту отдалась неодолимому влечению любви? Даже такие хладнокровные педанты, как наши законоведы, тут позволяют себе разжалобиться и воздержаться от наказания."

"Это совсем другое, – ответил Альберт, – ибо человек, раздираемый страстями, теряет разум и к нему относятся так, словно он опьянел или сошел с ума."

"Вот ведь какие вы умники! – засмеялся я, – Страсти! Опьянение! Сумасшествие! А вы, порядочные люди, сюда не касаетесь, вы не при чем, вы браните пьяниц, чураетесь сумасшедших, и, подобно духовному лицу, следуете себе своей дорогой, фарисейски вознося благодарения богу за то, что не создал он вас подобными одному из малых сих. Не однажды бывал я пьян, страсти доводили меня чуть не до безумия, но я об этом не жалею, потому что стал в какой-то мере понимать, отчего всех великих людей, свершавших такое, что и представить себе нельзя было, испокон веку объявляли пьяницами или сумасшедшими."

Да и в повседневной жизни нет уже сил слушать как почти про всякого, кто ведет себя самостоятельно, благородно, непревосхитимо, сейчас же вопят: "Да он выпил! Да он спятил!" Постыдились бы вы, трезвенники, постыдились бы вы, мудрецы!"

"Опять ты блажишь! – сказал Альберт, – все у тебя сверх всякой меры, поэтому ты ошибаешься и в данном случае, равняя самоубийство, – мы ведь говорим о самоубийстве, – с великими деяниями, а ведь оно, конечно, не что иное как слабость. Ибо умереть несомненно легче, нежели стойко сносить мучительную жизнь".

Мне не хотелось уже продолжать разговор, в ответ на излияние души я спокойно приму любой довод, но только не общее место. И все же сдержавшись, поскольку не раз уже слышал подобное и приходил от него в раздражение, я непринужденно возразил: "По-твоему это слабость? Не надо, милый, судить поверхностно. Назовешь ли ты слабым изнемогающий под ярмом невыносимой тирании народ за то, что он, наконец, восстал и разорвал свои цепи? Или человека, который в ужасе от того, что дом его горит, напрягает все силы и легко выносит вещи, какие в обычную пору и с места не сдвинет; или того, кто в ярости от оскорбления кинется на шестерых и возьмет над ними верх? Ну почему же, милый, если поднатужившись становишься сильнее, сверхнапряжение должно привести к обратному? Альберт глянул на меня и сказал: "Не обижайся, но примеры, которые ты приводишь, к нашему спору не имеют отношения". – "Может быть, – сказал я, – меня частенько попрекали тем, что моя манера рассуждать доводит подчас до абсурда. Посмотрим, нет ли другого способа ощутить, что творится в душе у человека, который решился сбросить обыкновенно столь отрадное бремя жизни. Мы ведь вправе судить о вещах лишь в той мере, в какой сами ими прониклись".

Человеку, – продолжал я, – положен предел: радость, страдание, боль, выносимы лишь в определенной мере и человек погибает, едва ее преступил. Дело не в том, слаб он или силен, а в том может ли он выдержать выпавшую ему меру страданий, все равно нравственных или физических. И по мне называть трусом человека, лишившего себя жизни, не менее странно нежели называть трусом умершего от злокачественной лихорадки".

"Парадокс! Нелепый парадокс!" – воскликнул Альберт. "Не такой нелепый, как тебе кажется, – возразил я. – Не станешь ведь ты отрицать, что смертельной мы зовем болезнь тогда, когда организм до того изнурен, что внутренних сил уже не осталось, а внешние обстоятельства таковы, что силы эти не восстановить, и никакой благоприятный переворот не способен возобновить нормальный ход жизни."

А теперь, мой милый, подойдем подобным же образом к душе. Возьми человека обособленно, – проследи, как преодолевают его впечатления, как западают ему идеи, откуда пагубная страсть не отнимет способность рассуждать спокойно и совсем не доконает.

Напрасно будет благоразумный и невозмутимый свидетель вникать в состояние несчастного, напрасны будут его уговоры. Точь в точь как здоровому, стоящему у постели больного, не вселить в него и самой малости собственных сил".

Для Альберта это было чересчур абстрактно. Я напомнил ему о недавно обнаруженной утопленнице и сызнава рассказал ее историю: "Славное юное создание, выросшее в замкнутом кругу домашнего времяпровождения, положенных будничных работ, не ведавшее иных радостей кроме как разве прогуляться в воскресный денек с другими такими же девушками по городу в слаженном загодя наряде, да, пожалуй, и потанцевать по случаю большого праздника, и притом еще с самым живым и сердечным сочувствием часика два потолковать с соседкой о причинах вспыхнувшей где-то перебранки и возведенной на кого-то напраслины, – и вот эта пламенная натура ощущает у себя тайную потребность, которая лишь распалется от лести мужчин; мало помалу у нее пропадает вкус к прежним радостям, и тут она встречает человека, к которому неотвратно влечет неведомое чувство, с этим человеком она связывает отныне все свои упования, и забывает весь мир вокруг, не слышит, не видит, не чувствует ничего, кроме него, единственного, и только им, единственным, и дышит. Не испорченная пустыми и мимолетными суетными забавами она устремляется прямо к цели, желая отдаться ему, обрести в нескончаемом единении все то счастье, которого ей нахватает, насладиться разом всеми радостями, которых она жаждала. Возобновляющиеся уверения, укрепляющие обоснованность ее надежд, безбоязненные ласки, возбуждающие в ней вождление, завладевают ее душой; сознание ее затуманено, в предвкушении полного счастья она истомилась до крайности. Тут, наконец, она раскрывает объятья своим желаниям... и любовник ее бросает. – Без чувств, в оцепенении, стоит она перед пропастью, кругом непроглядная тьма, ни надежды, ни утешения, ни предчувствия. Ее ведь покинул *тот*, в ком была вся ее жизнь. Она не замечает ни открытого ей просторного мира, ни множества тех, кто взялся бы возместить ей потерю, она ощущает себя одинокой, покинутой целым миром – и задавленная ужасающим бременем своего сердца, стремглав

кидается вниз, чтобы заглушить свои мучения набегающей со всех сторон смертью. – Поверь, Альберт, подобные истории происходят со многими людьми! Природа не дает выхода из лабиринта перемешавшихся и противоборствующих сил, и человек вынужден умирать.

Горе тому, кто, глядя на такое, сможет бросить: "Дурочка, ну что бы ей потерпеть, покуда скажется воздействие времени, отчаяние бы угомонилось, а там, глядишь, и сыскался бы кто-то ее утешать" – Это все равно, что сказать: "Дурак, помирает от лихорадки! Ну что бы ему потерпеть, покуда вернутся силы, накопятся соки и уляжется волнение в крови: все бы пошло на лад и жил бы себе поныне".

Альберт, которому эта параллель не показалась наглядной, что-то еще возражал и, между прочим, что история сия произошла с простодушной девушкой, но как можно извинить человека с понятием, не столь ограниченного, лучше разбирающегося в обстоятельствах, – он постичь не может. "Друг мой, – воскликнул я, – Человек всегда человек, и крохи разума, которые могут у него оказаться, почти или вовсе не сказываются, когда страсть буйствует, а он стеснен пределами человеческих возможностей. Напротив... Но об этом после", – сказал я и схватил шляпу. Сердце мое было переполнено. – И мы растались, не поняв друг друга. Понять друг друга на этом свете людям не просто.

15 августа

Известное дело, из целого мира лишь любящий нас и впрямь становится нам необходим. Я ощущаю это по Лотте, которой не хотелось бы меня потерять, а дети и представить себе не могут, чтобы я не появлялся каждое утро. Сегодня я туда пошел настроить лоттин клавесин, но так за него и не взялся, поскольку малыши потребовали сказку, и сама же Лотта велела исполнить их желание. Я нарезал им хлеба, – то, что ужин им даю я, для них теперь почти так же естественно, как то, что их кормит Лотта, – и рассказал про принцессу, у которой в услужении были руки. Мне самому это поучительно, уверяю тебя, и меня поражает впечатление, которое сказка на них производит. Если порой случается присочинить какую-нибудь деталь, которую я в другой раз забываю, они немедленно скажут, что прошлый раз было не так, и я уже стараюсь без перемен и отступлений продекламировать на певучий манер все, как было. Я выучился на этом опыте,

подобно писателю, выпустившему вторым изданием свое сочинение, – пусть оно даже стало поэтичнее, книга все равно пострадала. Мы верим первому впечатлению, и человек так устроен, что его можно убедить в невероятном; зато и оно застревает в нас настолько прочно, что горе вознамерившемуся его уничтожить и искоренить!

18 августа

Неужели то, что дает человеку величайшее блаженство, должно еще непременно быть источником его бедствий?

Горячее влечение моей души к живой природе, вливавшее в меня безмерное счастье и обращавшее весь мир вокруг в некий рай, нынче стало моим палачом, стало бесомысленным, преследующим, куда я ни ступи. Давно ли, поднявшись на скалы, оглядывая плодородную долину, я простирал взор до самых отдаленных холмов, и все кругом представало расцветающим и набирающимся соков; давно ли видел я горы, от подошвы до вершины поросшие густыми деревьями, и низины со множеством излучин, укрытых от солнца прелестными рощами, и река, отражая очаровательные облака, чуть колеблемые в небесах легким вечерним ветерком, неслышно скользила меж лепечущих камышей; давно ли слышал я вокруг себя птиц, обитающих в лесу, а в алом догорающем солнечном луче безбоязненно плясали мириады букашек, и последний трепещущий отблеск позволял жужжащему жуку выползти из травы, и эта суета и это мельтешение побуждали меня внимательней глядеть на землю, и мох, едва добывавший себе пропитание на бесплодном утесе, и дрок, лепившийся по сухим песчаным холмам, давали мне знать о потаенной, пламенной, священной жизни природы; и постигая все это своим горячим сердцем, от непомерного изобилия я ощущал себя почти что богом, и великолепное обличье бесконечного мира живительно отдавалось в моей душе. Меня обступали громадные гребни гор, впереди открывались пропасти, и потоки низвергались туда, внизу катили реки и гудели горы и лес; и все эти таинственные силы видны мне были в действии, одна другую творящими в недрах земли; а ныне от земли до небес расплодилось всевозможные твари. Все кругом заселено разнообразными созданиями, а люди обосновались в своих домишках, попрятались там, и воображают будто повелевают миром. Несчастный глупец, все ты считаешь за ничто, ибо сам ничтожен. – Над

неприступными нагорьями, над пустынями, куда не ступал человек, над неизведанным океаном до самых его краев, витает дух предвечного творца, радуясь каждой внемлющей ему и живой пылинке. Ах, частенько мне прежде хотелось унести с пролетавшим надо мной журавликом к берегам неоглядного моря, исполниться счастья жить, испив искристую чашу вездесущего и на мгновение ощутив своей убогой душой хоть кроху блаженного бытия, все созидающего в себе и из себя.

Брат мой, лишь воспоминание о тех временах поддерживает меня. Даже сама попытка возобновить и выразить то несказанное чувство возвышает душу, а потом я с удвоенной силой ощущаю ужас своего положения.

Перед моей душой словно бы распахнулась завеса, и подмостки бесконечной жизни обратились для меня в пропасть всегда открытой могилы. Можешь ли ты сказать: *это есть*, когда все проходит, все уносится вихрем, лишь в редкостных случаях успевая выказать себя и, увы, подхватывается потоком, идет ко дну, дробится о скалы. Каждое мгновение заглатывает тебя и твоих ближних, каждое мгновение ты сам оказываешься, и не можешь не оказаться, разрушителем; обыкновенная прогулка стоит жизни тысячам несчастных червячков, *единый* шаг ломает в изнурительном труде возведенные муравьями здания и растаптывает малый мир, предавая его недостойному погребению. Нет, не великие, чрезвычайные бедствия человечества, не наводнения, сносящие ваши села, не землетрясения, пожирающие ваши города, задевают меня; мне разрывает сердце истребительная сила, везде и всюду таящаяся в природе, у которой нет и не было творений, не убивающих соседа или хотя бы не убивающих себя самое. И от страха я не нахожу себе места. Предо мной небо и земля, полные созидательных сил, а я вижу только вечно жрущее, вечно жующее чудище.

21 августа

Напрасно раскрываю я ей объятия поутру, избавившись от дурных снов, тщетно ищу я ее ночью у себя в постели, когда меня дурманит счастливое и безгрешное видение, в котором я сижу с ней рядом на лужайке, снова и снова целую ей руку. Ах, когда после этого, еще в полудреме, я ищу ее ощупью и вдруг просыпаюсь – из сжавшегося сердца у меня хлещут потоки слез, и я безутешно плачу, не ожидая в будущем добра.

22 августа

Это напасть какая-то, Вильгельм, все силы мои уходят на беспокойное ничегонеделанье, я изнемогаю от праздности и все же ничем не могу заняться. Я утратил воображение, перестал понимать природу, а книги мне опостытели. Потерял себя, так все ведь потерял! Ей богу, иногда хочется наняться в батраки, только бы проснувшись на заре, иметь какие-то виды на предстоящий день, какие-то побуждения, какие-то надежды. Временами я завидую Альберту, который по уши зарывается в бумаги, и думаю, как было бы мне хорошо на его месте! Не раз уже мне западало в голову написать тебе и прямо к министру, чтобы выхлопотать место при посольстве, ты ведь уверяешь, что мне не откажут. Да я и сам так думаю. Министр издавна меня любит, давно стоит на том, что надо мне посвятить себя какому-нибудь делу; и вроде я уже решил. Да после, как поразмыслию, и на ум придет басня про коня, которому до того наскучила свобода, что он дал себя взнуздать и оседлать, а его бессовестно загнали – я уже и не знаю как мне быть... Однако, милый мой друг, нельзя ли предположить, что охота к переменам идет лишь от гложущей меня нетерпеливости, которая всюду останется при мне?

28 августа

Воистину, будь моя болезнь излечима, эти люди меня бы вылечили. Сегодня день моего рождения, и спозаранку я получил посылку от Альберта. Едва ее открыв, замечаю там розовую ленту, которая была у Лотты в волосах, когда мы познакомились, и которую я с той поры у нее выпрашивал. Были в посылке еще две книжечки в двенадцатую долю листа, маленький ветштайновский Гомер, которого я мечтал приобрести, чтобы не таскать на прогулки эрнестовское издание. Видишь, как они предупреждают мои желания, как уместны их маленькие дружеские одолжения, в тысячу раз более драгоценные нежели ослепительные подарки, которыми нас унижает тщеславный даритель. Я тысячи раз целую эту ленту, и каждый вздох возобновляет память о блаженстве, которым переполняли меня те немногие, счастливые, невозвратные дни. Так уж оно устроено, Вильгельм, и я не сетую; цветение жизни -- одна только видимость! Сколько цветов опадает, не оставив следа, лишь немногие приносят плоды, и не все они созревают! Но и созревает их с лихвой,

так как же... О, брат мой, ужели мы станем презирать спелые плоды, пренебрежем ими, и, не отведав, позволим им сгнить?

Будь здоров! Что за лето нынче! Часто я залезаю у Лотты в саду на фруктовые деревья и длинной жердью снимаю груши с верхушек. Лотта стоит внизу и берет их у меня.

30 августа

Несчастный! Не потерял ли ты рассудок? Или сам себя обманываешь? Что это за неистовая, неумная страсть? Я молюсь только ей, вижу в мечтах только ее, и все на свете значимо для меня только в связи с ней. Так провожу я множество счастливых часов, – покуда опять не должен от нее оторваться. Ах, Вильгельм, зачем сердце меня торопит? Когда я сижу у нее час, другой, третий, и люблю ее фигурой, ее поступками, божественными оборотами ее речей, все мои чувства понемногу напрягаются, темнеет в глазах, я едва слышу, кажется, будто наемный убийца хватается меня за глотку, а сердце мое дико колотится, стремясь дать волю стесненным чувствам, и лишь усиливая их смятение. – Вильгельм, я часто не знаю, на каком я свете! И – если порой тоска не пересиливает, а Лотта не склонна дарить мне жалкое утешение и не позволяет выплакать душевный груз, припадая к ее руке, – мне надо бежать, бежать на волю, и я ношусь по окрестным нивам; в ту пору я счастлив забраться на обрыв, или проложить тропку в непроходимом лесу сквозь густой терновник и острые колючки. Тогда мне становятся чуть полегче. Самую малость! Иногда от усталости и жажды я валюсь тут же на дороге, иногда, среди ночи, в полнолуние, сажусь в дремучем лесу на покривившийся ствол, чтобы мои израненные пятки немного отошли, и к рассвету, совсем уже обессилев, засыпаю. О, Вильгельм, уединенная келья, власяница да кушак с шипами – вот бальзам, которого жаждет моя душа. Прощай! От этих мук я не вижу никакого избавления, кроме могилы.

3 сентября

Надо уезжать! Спасибо, Вильгельм, что ты укрепил мою дрогнувшую решимость. Уже две недели я замышляю расстаться с Лоттой. Надо уезжать. Она опять в городе у подруги. И Альберт – и – Надо уезжать!

10 сентября

Какая была ночь! Вильгельм, теперь я все одолею. Я никогда ее не увижу. Жаль только, что нет возможность кинуться тебе на шею, мой ненаглядный, чтобы, плача и воспламеняясь, высказать все чувства, бушевающие душу. Я сижу тут едва дыша, пытаюсь успокоиться и жду зари, — лошадей велено подавать на рассвете.

Ах, она мирно спит и не знает, что уже никогда меня не увидит. С этим я покончил, и хватило сил не выдать в двухчасовом разговоре свои намерения. И бог ты мой, что это был за разговор!

Альберт мне обещал сразу после ужина быть с Лоттой в саду. Стоя на террасе под высокими каштанами, я глядел на заходящее солнце, в последний раз прощавшееся при мне с прелестной долиной и тихой рекой. Множество раз мы вместе с Лоттой любовались отсюда этим дивным зрелищем, а ныне... Я ходил туда и обратно по аллее, которую особенно любил; некое тайное симпатическое влечение нередко заводило меня сюда еще до знакомства с Лоттой, и оба мы обрадовались, когда, едва зная друг друга, открыли общее нам обоим пристрастие к этому месту, и впрямь одному из самых романтических созданий искусства, какие мне довелось видеть.

Представь себе бескрайний простор, открывающийся между каштанами... Ах, я ведь уже писал тебе про то, как сблизаются ряды высоких буков и аллея, оттого, что кругом еще насажены кусты, становится все угрюмей и, наконец, утыкается в замкнутое пространство, где витают все страхи одиночества. Я доселе ощущаю до чего меня проняло, когда я попал сюда впервые как раз в самый полдень, я смутно догадывался какие радости и горести здесь еще разыграются.

Около получаса я наслаждался томительно-сладостными мечтаниями о разрыве и новом свидании, куда не услышал, что к террасе подходят. Я кинулся навстречу, трепеща схватил ее руку и поцеловал. Только мы поднялись наверх, как из-за поросшего кустами холма показалась луна; разговоровившись, мы незаметно приблизились к угрюмой беседке. Лотта вошла и села, Альберт уселся рядом и я тоже, но когда волнуешься, разве усидишь, и я вскочил, встал перед ними, походил туда-сюда и опять сел, мне было невольно. Она обратила наше внимание на то, что лунный свет озарял площадку за чредой высоких буков, картина была дивная, тем более ошеломляющая, что кругом стояла тьма крошечная. Мы

примолкли, и чуть помедлив, она сказала: "Когда я гуляю при луне, меня не отпускает мысль о близких, которых уже нет, ощущение смерти и того, что за ней следует. Мы будем жить вечно, – продолжала она голосом полным необыкновенной душевности, – но найдем ли мы друг друга, Вертер, узнаем ли друг друга? Какое у Вас предчувствие? Как по-Вашему?"

"Лотта, – сказал я, протянув руку, а глаза мои, между тем были уже полны слез, – мы еще увидимся, мы увидимся еще и здесь и там!" Я не мог продолжать... Вильгельм, надо же было ей про это спрашивать, когда сердце мое пришло к такому страшному решению!"

"А знают ли наши дорогие покойники, что с нами, – продолжала она, – чувствуют ли они, с каким теплом вспоминаем мы о них, покамест у нас все ладно? О, дух моей матери всегда парит надо мной, когда тихим вечером я сижу с ее детьми, с моими детьми, и они ластятся ко мне, как прежде ластились к ней. Обливаясь слезами, я гляжу на небо и мне хочется, чтобы она могла хоть на мгновение взглянуть, как я держу слово, которое дала ей в час ее кончины – быть матерью ее детям. Как пылко у меня тогда вырывается: "Прости, дорогая, если я не стала им тем, чем была ты. Ах, я делаю ведь все, что могу; они и одеты, и накормлены, и, что всего важнее, обихожены и любимы. Видала бы ты, праведница родимая, какое у нас согласие, так всей душой восславила бы господя, которого, горько рыдая, в предсмертный час молила о благополучии своих детей".

Так она сказала, – ах, Вильгельм, кто в состоянии повторить то, что она сказала, где уж холодным, безжизненным буквам изобразить это божественное цветение души! Альберт осторожно вмешался: "Вы не в меру утомляетесь, милая Лотта! Я знаю, душа ваша тяготеет к такого рода идеям, но умоляю вас..." "Ах, Альберт, сказала она, – я уверена, ты не забудешь вечера, которые мы проводили с ней за маленьким круглым столиком, когда папа бывал в отъезде, а малышей отправляли спать. Ты часто прихватывал хорошую книжку, но редко принимался за чтение... Разве не превыше всего было общение с этой светлой душой, с этой прекрасной, кроткой, веселой и работающей женщиной? Господу ведомо, как заливалась я слезами, простираясь перед ним ночью, и молясь, чтобы он дал мне стать такой, как она."

"Лотта, – воскликнул я, бросившись перед ней на колени и взяв ее за руку, которую тут же залил слезами, – Лотта, с тобой благодать божия и материнская душа". "Если бы вы ее

знали", – сказала она, сжимая мне руку, – "ей не стыдно было бы с вами познакомиться!" Я так и обер. Никогда еще обо мне не говорили столь высоко и столь почтительно, а она продолжала: "И такая женщина должна была угаснуть в расцвете лет, когда ее младшему сыну не было и шести месяцев! Недуг ее длился недолго; она была спокойна, безропотна, только детей было ей жалко, в особенности маленького. Перед самой кончиной она мне сказала: "Позови их!" и я привела малышей, ничего не понимавших, и старших, чьи чувства оцепенели, и они стали вокруг кровати, а она подняла руки, помолилась за детей, поцеловала их, одного за другим, отослала, и сказала мне: "Будь им матерью!" Я дала слово. "Ты берешь на себя много, дочь моя – иметь сердце матери и глаз матери. Видав, как ты плакала от признательности, я решила, что ты чувствуешь, о чем тут речь. Будь же матерью братьям и сестрам, а отцу будь преданна и покорна, как жена. Утешь его!" Она спросила где он, а он вышел, чтобы не выдать нам охватившую его неодолимую печаль; он был совершенно раздавлен.

Альберт, ты был в комнате. Она услышала шаги, спросила кто там, позвала тебя и умиротворенный, утешенный взор, которым она смотрела на тебя и на меня, говорил, что нас ожидает счастье, что вдвоем нас ожидает счастье". Альберт бросился ей на шею, поцеловал ее и воскликнул: "Это так, и будет так!" Рассудительный Альберт и тот не мог сдержаться, а я и вовсе собой не владел.

"Вертер, – выговорила она, – и такая женщина должна была угаснуть! Господи, я порой задумываюсь, как же это позволено отнимать самое дорогое в жизни, и никто не ощущает это больней, нежели дети, которые долго потом горевали, что черные мужики унесли маму!"

Она встала, а я, возбужденный и потрясенный, остался сидеть, не отпуская ее руки. "Надо идти! – сказала она, "Пора!" Она хотела выдернуть руку, но я стиснул ее еще крепче. "Мы увидимся, – воскликнул я, – мы найдем друг друга, в любом обличьи мы узнаем друг друга. Я уйду, – продолжал я, – я готов уйти, но если бы пришлось сказать, что это навеки, мне бы не выдержать. Прощай, Лотта! Прощай, Альберт! Мы еще увидимся". – "Завтра, я полагаю" – игриво ответила она. Каково было мне услышать это "завтра"! Ах, она и не ведала, отнимая у меня руку... Они пошли по аллее, а я стоял и глядел, как они удалялись в лунном сиянии, а после бросился наземь, выплакался, вскочил, взбежал на террасу и

внизу в тени высоких лип различил у садовой калитки ее белое платье; я протянул руки и оно пропало.

КНИГА ВТОРАЯ

20 октября 1771 г.

Вчера мы сюда приехали. Посланнику нездоровится, и несколько дней он появляться не будет. Кабы не его неблагосклонность, все обстояло бы отлично. Чую ведь я, чую, что судьба припасла мне жестокое испытание. Да нечего робеть! Беззаботность все одолеет. Беззаботность? Самому смешно, что это слово сорвалось у меня с пера. О, чуток бы беззаботности, и быть бы мне счастливейшим из людей. Неужто же оттого, что другие в приятном самоупоении похвалялись передо мной жалкими силенками и крохами таланта, я усомнился в собственных силах и самом себе? Боже милостивый, ну что бы тебе, одаряя меня, дать вдвое меньше, зато сотворить меня самоуверенным и довольным собой!

Терпение! Терпение! Все еще образуется. Соглашаюсь, милый, ты прав. С той поры, как я целые дни с людьми и вижу, что они делают и каким манером, я лучше отношусь к себе. Коли мы уж так устроены, чтобы всех сопоставлять с собой, а себя со всеми прочими, стало быть счастье иди несчастье заключены в том, с чем мы себя сопоставляем, и ничего нет пагубнее одиночества. Наше воображение, от природы склонное воспарять, и к тому же возвращенное на невероятных поэтических картинах, рисует лестницу, на которой мы стоим ниже всех, и все люди кругом кажутся лучше нас и любой из них – достойней. И это в порядке вещей. Мы часто ощущаем свое несовершенство, и почти все, чего недостает нам, есть, как нам кажется, у другого, которого мы наделяем и тем, что есть у нас и, сверх того, всеми идеальными достоинствами. И вот счастливцев готов, мы сами его сотворили.

Но если обессилев и замучившись, мы продвигаемся вое же вперед, и оказывается, что едва плетясь и сбиваясь с пути, мы обошли и шедших под парусами и нажимавших на весла, – вот оно! – лишь тогда поистине обретаешь себя, когда нагнал или даже обогнал другого.

26 ноября 1771 г.

Я начинаю тут помаленьку обывкать. Самое отрадное, что работы много; к тому же изобилие людей всевозможного толка образует пестрое зрелище, меня занимающее. Я познакомился с графом К..., которого с каждым днем почитаю все больше,

это светлая, толковая голова, отнюдь не охладевшая от своей мудрости, в его обхождении ощущаешь и доброжелательство и симпатию. Он расположился ко мне, когда я приходил к нему по делу, сразу же заметив, что мы друг друга понимаем, и мало с кем он может говорить так, как со мной. Да и я не нарадуюсь его искренности. Нет на свете счастья чище и слаще, нежели откровенность большой души.

24 декабря 1771 г.

От посланника у меня одни неприятности, как я и предполагал. Буквоеда глупее его не придумать; все у него, как положено, чопорен как кукла, всегда не в духе, и благодарности от него не дождешься. С работой я справляюсь и, коли уж написано, так с чего бы переписывать; но он способен вернуть готовый документ изаявить: "Недурно, но перечитайте, всегда ведь можно подобрать более удачное слово, уточнить мелочи". От этого звереешь. Ни одного "и" и, вообще, ни одного союза он не допускает, и любая инверсия, которая порой у меня выскакивает, для него – предмет смертельной ненависти; если фраза не прокручена по заведенному шаблону, он ничего не понимает. Иметь дело с таким человеком – сплошное мученье.

Общение с графом К. – единственное, что меня еще поддерживает. Недавно он мне напрямик сказал, что недоволен медлительностью и нерешимостью посланника. "Такие люди обременяют и себя и других, и все же – прибавил он, – приходится с ними считаться, уподобляясь страннику, которому гора преграждает путь; само собой, не будь горы, можно бы пройти не в пример приятней и короче, но уж раз она есть, надо через нее перевалить!".

Старик чувствует, что граф предпочитает иметь дело со мной, его это бесит, и он не упускает случая сказать при мне пакость о графе; я, естественно, перечу, и к добру это не ведет. Вчера я совсем взорвался, поскольку он и меня заодно зацепил: граф, дескать, вполне светский человек, и работа ему удастся, и перо у него славно, но настоящей образованности нет, как, впрочем, и вообще у литераторов. При этом он скорчил гримасу, словно бы желая сказать: "Дошло?", но на меня это впечатления не произвело; я презираю людей, которые держатся таких взглядов и так себя ведут. Я не отступил и довольно запальчиво отразил удар. Я сказал, что графа следует уважать и за личные его достоинства и за ученость. "Никогда –

сказал я – не доводилось мне встречать человека, который до такой степени обогатил бы свой ум, углубился бы в такое множество предметов, и, притом, по-прежнему деятельно участвовал в повседневной жизни". Но для стариковской головы это была китайская грамота, и я ретировался, боясь вконец осатанеть от продолжающихся вздоров.

А виноваты в этом вы все, без умолку трубившие, что надо трудиться и заманившие меня в ярмо. Надо трудиться! Да если мужик, сажая картофель и ездя в город продавать зерно, не делает больше моего, я готов еще десять лет отбывать на галере, к которой прикован теперь. А лоск, прикрывающий убогость! А до чего скучно, когда видишь кругом лишь гнусный сброд! Сколько тут честолюбий, всякий только и караулит и высматривает, как бы обойти другого, хоть на шагок! Презреннейшие и подлейшие страсти выступают нагишом. Одна женщина, к примеру, всякому твердит о своем происхождении и своих поместьях, и посторонний невольно подумает: какой надо быть дурой, чтобы так заноситься от худородного дворянства и тучности своих земель. – Но правда еще более жалка: эта женщина – дочка здешнего писаря. – Как ты хочешь, я не понимаю людей, если они могут так пошло себя ронять.

Я и впрямь с каждым днем все отчетливей вижу, мой милый, что глупо судить о других по себе. А коль скоро у меня и с самим собой забот хватает, и сердце буйное, пускай уж другие живут, как хотят, только бы они меня оставили в покое.

Более всего мне досаждают проклятые общественные установления. Не хуже других я знаю, сколь необходимо различие сословий и сколько преимуществ дает оно мне самому; но почему оно преграждает путь как раз туда, где мне на этой земле могла бы достаться хоть капля радости, хоть проблеск счастья! Недавно, прогуливаясь, я познакомился с некоей барышней фон Б..., прелестным существом, сохраняющим естественность среди окружающей чопорности. Беседа вызвала у нас взаимное расположение, и, прощаясь, я попросил позволения ее навестить. Она разрешила так прямодушно, что я едва дождался часа, когда прилично было к ней пойти. Она нездешняя и живет у своей тетки. Физиономия старухи мне не понравилась. Я выказывал ей всевозможную почтительность, говорил, обращаясь, по преимуществу к ней, и меньше чем через полчаса вполне понимал то, в чем после призналась и сама барышня: бесценная тетушка на старости лет бедствовала, у нее не было ни приличного состояния, ни

ума, ни какой-либо опоры, кроме вереницы предков, ни какой-либо защиты, кроме знатности, в которую она замуровалась, и не было никакой радости, кроме как с высоты своего положения глядеть поверх мещанских голов. В юности она, как будто, была красива и забавлялась жизнью, истерзав своим самодурством множество несчастных молодых людей, а в зрелости пошла на то, чтобы повиноваться пожилому офицеру, который в обмен на это и на изрядную субсидию, куда не помер, проводил рука об руку с ней законный бронзовый век. Теперь она в одиночестве вступила в железный, и никто бы ее не приметил, не будь ее племянница столь прелестна.

8 января 1772 г.

Каковы же люди, всю душу положившие на церемонии, все думы и чаяния годами расходующие на то, чтобы занять за столом чуть более почетный стул! И не то, чтобы у них не было других занятий: напротив, работы скапливается уйма, из-за мелких неприятностей с продвижением по службе как раз и застревают важные дела. На прошлой неделе распря началась во время катания на санях и отравила все удовольствие.

Дураки, они не видят, что место само по себе ничего не стоит и занявший первое крайне редко играет первую роль. Как часто королями руководят министры, как часто министрами руководят их секретари! Так кто же первый? По-моему, тот, кто лучше разобрался в остальных, и ему хватает могущества или хитрости направить их силы и страсти на осуществление своих планов.

20 января

Приходится, милая Лотта, писать Вам здесь, в жалкой клетушке на постоялом дворе для мужиков, где я спасаюсь от ненастья. С тех пор как я влачу свои дни в этой нудной дыре Д..., среди чужих, совершенно чужих мне людей, не было случая, ни единого, чтобы я порывался Вам написать; а нынче в этой лачуге, в этом уединении, в этой пустыне, где за окном бушуют снег и град, я сразу подумал о Вас. Чуть я вошел. Ваш облик и память о Вас, Лотта, вспыхнули во мне так блаженно, так жарко! Боже милостивый, после разлуки первый счастливый миг!

Увидали бы Вы меня, моя хорошая, в вихре развлечений! Сердце иссохло, ни *минуты* душевной полноты, ни *единого*

радостного мгновения! Ничего! Ничего! Словно стою перед фургоном кукольника, вижу движущихся человечков и лошадок и все спрашиваю себя, не оптический ли это обман? Я тоже двигаюсь, или, скорее, меня двигают как марионетку, подчас я цепляюсь за деревянную руку соседа и в страхе отстраняюсь. Вечером решаю насладиться восходом солнца, но не встаю с постели, днем предполагаю полюбоваться луной и сижу дома. Я толком не знаю, зачем встаю, зачем иду спать.

Закваска, укреплявшая во мне жизнь, пропала, волшебство, среди ночи поддерживавшее во мне бодрость, ушло, того, что пробуждало поутру, нет и в помине.

Я обнаружил тут одну-единственную женскую душу, некую барышню фон Б..., она подобна Вам, милая Лотта, если возможно Вам уподобиться. "Ну вот" – скажете Вы, – "стал налегать на изысканные комплименты!" И не то чтобы это вовсе не так. С некоторых пор я весьма учтив, поскольку мне иным быть не положено, усердно остро, и здешние кумушки говорят, что никто так тонко не похвалит. ("И не приврет" – прибавите Вы, поскольку без этого не обойдешься, сами понимаете.) Я хотел сказать про барышню Б... У нее есть душа и душа эта светится в голубых очах. Сословное положение для нее обуза и душевных стремлений не утоляет. Она томится в здешней сутолоке, и мы часами с ней воображаем деревенские картины, полные истинного блаженства; ах, и грезим о Вас! Зачастую она вынуждена перед Вами преклоняться, да вовсе и не вынуждена, а делает это по доброй воле, она охотно слушает, когда я говорю о Вас, и любит Вас.

Ах, сидеть бы мне у Ваших ног в славной привычной комнате, и пусть бы наши милые малыши копошились рядом, а если они, по-Вашему, расшумятся, я займу их страшной сказкой, чтобы поутихли.

Солнце величественно опускается над сверкающими окрест снегами, буря миновала, а я... должен сызнова забираться в клетку.

Прощайте! При Вас ли Альберт? И как...? Прости мне, господи, этот вопрос!

8 февраля

Погода уже неделю мерзейшая, и мне это на пользу. С тех пор как я тут, еще не было ясного дня, который бы мне кто-нибудь не изгадил и не отравил. Когда же, как нынче, и льет, и метет, и подмораживает, и тает, – эге, думаю я, не будет же

дома хуже, чем на дворе, а глядишь и наоборот окажется, и сразу все хорошо. Когда солнце, вставая поутру, сулит прекрасный день, я не могу удержаться, чтобы не сказать: опять небеса даруют им благо, которое они рады друг у друга отобрать! Все отбирают они друг у друга. Здоровье, доброе имя, радость, вдохновение! Чаще всего это делается по глупости, недомыслию и узколюбости, а если их послушать, то из самых лучших побуждений. Порой хочется встать на колени, умоляя их не так буйно выворачивать собственные потроха.

17 февраля

Боюсь, недолго мы еще с посланником выдержим вместе. Он совершенно невыносим. Его метода вести дела до того комична, что мне не удержаться от возражений и от того, чтобы работать посвоему разумению, что ему, естественно, не нравится. В этой связи он последнее время жаловался на меня при дворе, и министр сделал мне выговор, хоть он и сделал его очень деликатно, все же это был выговор, и я уже подумывал о том, чтобы просить увольнения, да пришло от него частное письмо⁵, перед которым я преклонил колена, восхищенный высокой, благородной и мудрой направленностью. И ведь как он указывает на мою непомерную чувствительность, как, учитывая мои, по молодости лет смело хватающие через край, идеи о деятельности, о влиянии на других и о вмешательстве в происходящее, пытается их не искоренить, но лишь умерить и направить туда, где они обретут реальный смысл и смогут оказать воздействие. Я, понятно, на неделю взбодрился и обрел себя. Ничего нет лучше душевного покоя, он сам по себе – счастье. Милый друг, не была бы только эта диковинка столь же хрупка, сколь она прекрасна и драгоценна.

20 февраля

Благослови вас бог, милые, и да ниспошлет он вам все счастливые дни, которые отнимает у меня.

* Из уважения к этому достойному господину означенное письмо, как и еще одно, которое будет упомянуто ниже, изъято из публикуемого сборника, ибо подобную нескромность едва ли испустила бы даже горячая благодарность публики.

Спасибо, Альберт, что ты меня обманул: я дождался вести о дне вашей свадьбы, порешив тогда же торжественно снять со стены лоттин силуэт и схоронить его среди прочих бумаг. Теперь вы обвенчаны, а портрет еще на месте! Так тому и быть! А почему бы и нет? Знаю, я ведь тоже при вас, тоже, тебе не помехой, у Лотты в сердце, я там на втором месте и хочу и вынужден его удерживать. Да я бы обезумел, если бы она могла позабыть... Альберт, в этой мысли для меня геенна! Альберт, прощай! Прощай, ангел небесный! Прощай, Лотта!

15 марта

Произошла досадная история, из-за которой придется отсюда уехать. Я зубами готов скрежетать! Черт подери! Ничего теперь не поделаешь, а кругом виноваты вы, все вы меня подбивали, донимали и подгоняли, чтобы я определился на должность, которая не по мне. Вот я и получил! Вот вы и получили! А чтобы ты опять не говорил, что все испортило мое хватание через край, позволь, милостивый государь мой, с бесхитростностью летописца рассказать, как было дело.

Граф фон К. любит меня, отличает меня, это не новость, я тебе про это сотни раз писал. Вчера, стало быть, звали меня к нему обедать, как раз в тот день, когда по вечерам у него собирается изысканное общество из господ и дам, каких у меня и в мыслях не бывает, вот и не могло мне на ум придти, что мы, подчиненности, туда не вхожи. Ладно. Отобедал я у графа, и мы с ним и с подошедшим вскоре полковником Б. беседовали, шагая взад и вперед по большому залу, покуда не наступило время гостям съезжаться. Видит бог, я ничего и не подозревал. Тут входит весьма именитая госпожа фон С... с господином супругом и свежевылупившейся гусыничкой дочкой, обладательницей плоской груди и недурного корсета, и демонстрируют en passant свои высокопородные глаза и ноздри; поскольку мне этот народ не по вкусу, я хотел уже откланяться и только поджидал, покамест граф освободится от их убогой болтовни, как вдруг вошла моя барышня Б... Дух мой всегда несколько воспаряет, когда я ее вижу, вот я и застрял, встал за ее стулом, и лишь какое-то время спустя заметил, что она со мной говорит не так сердечно, как обычно, словно бы стесняясь. Это меня задело. "Или она, как все?" – подумал я, и уязвленный собрался уходить, и все-таки остался, потому что не хотел ее винить, не хотел этому верить, надеялся

еще услышать от нее доброе слово, – понимай, как знаешь. Между тем, гости все прибывали. Барон Ф. в наряде времен коронации Франца Первого, гофрат Р., здесь впрочем выступающий *in qualitate* господина фон Р., с глухой женой и прочие, включая жалко одетого И., на новомодный лад латающего дыры в своем старо-французском облачении; гостей привалила тьма, я заговаривал с какими-то своими знакомыми, все они были предельно лаконичны. Подумал я было... но меня занимала только моя Б. Я и не заметил, что в конце зала женщины перешептывались, что к ним присоединились мужчины, что госпожа фон С. обратилась к графу (все это мне потом рассказала барышня Б.) и, наконец, граф направился ко мне и отвел меня к окну. "Вам известны, – сказал он, – наши странные условности. Общество, как я замечаю, не радо вас тут видеть. Я бы отнюдь не хотел..." "Ваше сиятельство" – перебил я, – "тысячу раз прошу меня извинить, мне следовало самому об этом подумать, но, надеюсь, вы простите мне эту оплошность. Я и прежде хотел уже ретироваться, да злой гений удержал!" – прибавил я, улыбаясь и кланяясь. Граф пожал мне руку с порывом, которым все было сказано. Я незаметно покинул высокое общества, вышел, сел в кабриолет и поехал в М., чтобы с холма глядеть на закат и читать в своем Гомере прекрасную песнь о том, как славно принимал Улисса гостеприимный свинопас. Все это было превосходно.

Вернулся я к ужину, в харчевне никого почти уже не было; только в углу, отвернув скатерть, играли в кости. Вдруг появляется великодушный Аделин, увидев меня, снимает шляпу, подходит и шепчет: "Ты в беде?" – "Я?" – удивляюсь я. "Граф тебя выставил за дверь?" – "Ну и черт с ними! – сказал я, – мне приятно было выйти на свежий воздух" – "Хорошо, – сказал он, – что ты не принимаешь это чересчур всерьез. Мне только обидно, что все уже про это говорят!" И тут меня взяла досада. Все, кто подходят к столу и глядят на меня, подумал я, глядя на меня из-за той истории! Терпение от этого лопнет!

А уж нынче, куда я ни ступи, все мне соболезуют, и завистники мои, по слухам, торжествуют и твердят: всякому теперь видно, до чего спесь доводит тех, кто чванится невеликой своей смекалкой да воображает будто ему дозволено пренебрегать канонами, и тому подобную собачью брехню – прямо хоть нож в сердце втыкай; а ежели скажут, что надо быть выше этого, то хотел бы я поглядеть, кто стерпит, когда у подлецов будет за что уцепиться, чтобы о нем судачить; вот если попусту болтают, тогда, конечно, можно и пренебречь.

16 марта

Травля идет со всех сторон. Встретил сегодня на бульваре барышню Б. и не удержался от того, чтобы заговорить и, едва лишь мы отделились от людей, высказать ей, до чего меня обидело ее вчерашнее поведение. "О, Вертер, – сказала она сердечным тоном, – как можете вы, зная меня, так истолковывать мое смятение? Мне больно стало за вас, чуть я вошла в зал! Я все предугадала, и сотни раз у меня вертелось на языке предостережение. Я ведь знала, что эти самые фон С. и Т. со своими мужьями скорее пустятся наутек, нежели останутся в вашей компании; я знала, что графу нельзя с ними порвать, – а теперь пересуды пошли!" – "Да что вы, барышня?" – вымолвил я, не выдавая своих страхов; между тем все, что Аделин мне позавчера рассказал крутым кипятком неслось в ту минуту у меня по жилам. "Чего мне все это стоило!" – сказала милое создание, и глаза ее были полны слез. Я не владел уже собой и готов был броситься к ее ногам. "Не таите, что с вами" – закричал я. У нее по щекам слезы катили. Я себя не помнил. Она утерла слезы, не желая их скрывать. "Вы ведь тетюшку мою знаете, – начала она, – она была в числе гостей и – о, как она на все это смотрела! Вертер, вчера вечером и сегодня утром мне прочли проповедь по поводу общения с вами, и я должна была слушать, как вас оскорбляют и унижают, и не могла и не смела толком за вас вступить".

Каждое сказанное ею слово как меч вонзалось мне в сердце. Она не ощущала, что сострадание велит утаить все это от меня и еще добавила про сплетни, которые теперь не остановишь, и про то как будут нынче ликовать определенного сорта люди. Как будут ликовать и тешиться посрамлением моей спеси и моего пренебрежения к окружающим, в котором издавна меня упрекали. Вильгельм, каково все это слышать от нее, притом что произносилось оно с неподдельным сочувствием... Я уничтожен, и в душе еще неистовствую. О пусть бы кто-то из них попрекнул меня напрямик, чтобы я мог проткнуть его шпагой. При виде крови мне делается лучше. Ах, сотни раз я хватал нож в надежде дать волю стесненному сердцу. Есть, говорят, благородная порода лошадей, которые если очень уж сильно их разгорячили или заездили, инстинктивно прокусывают себе жилу, чтобы легче стало дышать. Вот и хочется порой вскрыть себе жилы и обрести вечную свободу.

24 марта

Я просил двор об увольнении и, надеюсь, его получу, а вы уж мне простите, что не попросил сперва на это разрешения у вас. Надо разом уехать, а все, что вы скажете, чтобы уговорить меня остаться, я знаю наперед, и стало быть... Подай это моей матери под надлежащим соусом, я и себе-то помочь не могу, пусть уж смирится с тем, что я ей не могу помочь. Конечно, ей горько. Отличный путь, которым сынок бы и до тайного советника и до посланника дошел, вдруг увидеть прерванным и вернуться в свой хлев к своему корыту. Делайте теперь что угодно, перебирайте разные варианты, при которых я имел возможность и обязан был остаться, – с меня довольно, и я уйду; а чтобы вам не гадать, куда я отправляюсь, знайте, что здесь князь *, который находит удовольствие в моей компании; услышав о моих планах, он просил меня поехать с ним в его поместье и провести там дивную весну. Он обещал, что я буду совершенно свободен, и поскольку мы с ним в какой-то мере друг друга понимаем, я решил положиться на судьбу и отправиться с ним.

Притиска. 19 апреля

Спасибо за оба твои письма. Я не отвечал и придержал это послание, пока не придет отставка; боязно было, что мать пожелает обратиться к министру и расстроит мои замыслы. Теперь уже все позади, отставка мне дана. Не буду пересказывать, сколь неохотно ее дали и что мне пишет министр, – вы опять приметесь причитать. Наследный принц прислал на прощание двадцать пять дукатов и до слез меня тронувшую фразу; стало быть деньги, о которых я матери недавно писал, мне не нужны.

5 мая

Завтра я отсюда уеду, а поскольку родные мои места всего в шести милях, свернув с дороги, хочу их тоже повидать, хочу припомнить прежние, счастливые дни, полные грез. Я войду в те же ворота, из которых мать моя выехала со мной, покидая после смерти отца эту милую привычную сторону, чтобы запереться в своем невыносимом городе. Прощай, Вильгельм, вести о моем передвижении ты будешь получать.

9 мая

Я завершил паломничество на родину, полный благоговения положенного пилигриму и меня охватило множество неожиданных ощущений. У огромной липы, от которой по дороге на С. еще пятнадцать минут до города, я велел остановиться, вылез и приказал ямщику отправляться, чтобы сердце мое на пешем ходу вкусило каждое воспоминание наново, живым. Я стоял под липой, той самой липой, которая сызмала была целью и пределом моих прогулок. Все теперь по-иному! Тогда в блаженном неведении тосковал я по незнакомому миру, уповал в изобилии обрести там пищу и отраду своему сердцу, напоить и умиротворить мою жаждущую, томящуюся душу. Ныне я возвращаюсь из дальнего мира, – о, друг мой, сколько при мне разбитых надежд и сколько пропавших замыслов! – Взору сызнова открылись горы, о которых я тысячи раз мечтал. Я мог тут часами сидеть, порываясь к ним, всей душой отдаваясь лесам и долинам, таившимся в нежном мареве; и когда надо было потом, в положенный час уходить, все во мне противилось расставанию с любимым уголком! – Я приближался к городу, кланяясь по дороге старым, привычным беседкам, новые вызывали у меня отвращение, как впрочем, и остальные перемены с тех пор произведенные. Войдя в ворота, я разом обрел себя. Милый, не стану вдаваться в детали, чаровавшее меня будет в пересказе выглядеть нудным. Я решил поселиться на главной площади, по соседству с когдатощним нашим домом. Попутно я заметил, что школа, куда нас в детстве сгоняла добросовестная старуха, переделана под мелочную лавку. Я вспомнил тревоги, горести, стеснения чувств и душевные страхи, изведенные в этой лачуге. – На каждом шагу что-то бросалось в глаза. Паломник в святую землю не встречает такого средоточия религиозных напоминаний и едва ли душа его настолько переполняется священным умилением. – Еще пример из множества. Пошел я вниз по реке к знакомому хутору; сюда я тоже частенько ходил, – мальчишками мы тут бросали в воду плоские камни, стараясь чтобы они подольше подпрыгивали. Я тотчас припомнил как замирал иногда, следя за бегущей водой и прозревая ее течение; какими невероятными казались мне страны, в которые она утекала, как быстро исчерпывал я запасы своего воображения; и все же тянулся дальше, все дальше, покуда не погружался в созерцание совсем уже неразличимой дали. –

Вот, милый, так же слепы и так же счастливы были великие наши предки. Так же наивны их чувства, их поэзия! Слова Улисса о безмерном море и беспредельной земле и верны ведь, и человечны, и откровенны, и примитивны, и полны таинственного. Какой мне прок в том, что сегодня вместе с каждым школьником я твержу, что земля – шар. Немного надо человеку земли, чтобы на ней блаженствовать, и еще меньше, чтобы лечь в нее навсегда.

Вот я и добрался до князьего охотничьего замка. С его господином можно недурно жить, он правдив и прост. Странные люди вертятся вокруг него, что-то я в них не разберусь. Вроде бы и не мошенники, но и честными людьми их по виду не сочтешь. Порой мне кажется, что они честные, а все-таки веры к ним нет. Еще меня огорчает, что князь часто судит о вещах по слухам или по книгам и держится тех мыслей, какие кому-то угодно было ему внушить.

Он и у меня ум и талант ценит больше чем сердце, хотя оно – моя единственная гордость, только оно – источник всего, всех моих усилий, всех моих наслаждений и всех моих невзгод! Ах, да ведь все, что я знаю, всякий может выучить, – а сердце мое есть у меня одного.

25 мая

Была у меня еще идея, о которой не хотелось вам говорить, покуда ее не исполню. Теперь, когда ничего не получилось, все уже едино. Я собирался на войну, мне это давно запало. По преимуществу я и с князем сюда поехал, потому что он генерал ... - ой службы. Как-то на прогулке я открыл ему свое намерение, и он меня отговорил; от его резонов лишь тогда бы можно отмахнуться, будь у меня это страсть, а не блажь.

11 июня

Говори, что угодно, я здесь больше не могу. На что мне тут быть? Мне тут наскучило. Князь меня принимает лучше некуда, и вое же положение мое ложное. У нас по сути ничего общего нет. Он человек с умом, да только с умом самым пошлым, с ним общаться мне не занятней, нежели читать ловко слаженную книжку. Еще неделю поживу, а там опять в дорогу. Всего лучше шло у меня тут рисование. Князь смыслит в искусстве, и еще больше бы смыслил, кабы не сводил все к

уродливым научным положениям и вульгарной терминологии. Я до скрежета зубного дохожу, когда со всем пылом воображения веду его в мир природы и искусства, а ему кажется, что самое тут будет подходящее подкинуть мне штампованный оборот.

16 июня

Пускай я лишь странник, лишь паломник на этой земле! А вы кто такие?

18 июня

Где я буду? Открою тебе доверительно. Недели бы две надо еще здесь провести, а после, втемяшилось мне, стоит посетить рудники в ...-е, но дело не в них, я хочу лишь к Лотте быть поближе, вот и все. И вот потешаюсь над собственным сердцем – и убажжаю его...

29 июля

Нет, все хорошо! Все прекрасно! Я... ее муж! О, господь, сотворивший меня, кабы ты уготовал мне такое блаженство, вся жизнь моя стала бы нескончаемой молитвой. Я не ропщу, прости мне эти слезы, прости напрасные желания! – Она моя жена! Мне бы обнять это нежнейшее из живущих под солнцем существ... Меня всего знобит, Вильгельм, когда Альберт обхватывает ее стройное тело.

И смею ли сказать? А почему бы нет, Вильгельм? Она бы со мной была счастливей, чем с ним! Не такой он человек, чтобы уловить всякое желание ее сердца. Чутья не хватает, не хватает – уж как ты себе хочешь; сердце его не бьется в согласии при... О! ... При чтении тех строк в любимой книге, где наши с Лоттой сердца сливаются *воедино*, и во множестве случаев, когда не скрыть свое отношение к чужим поступкам. Милый Вильгельм!... Впрочем, он любит ее всей душой, а за такую любовь чего не жалко!

Меня прервал несносный гость. Слезы мои просохли... Я рассеялся. Прощай, милый!

4 августа

Не только со мной такое. Всех людей обманывают ожидания, одурачивают упования. Я навестил славную женщину, живущую на хуторе под липой. Старший из мальчишек выбежал мне навстречу и на его радостный крик вышла мать, как в воду опущенная. Первые слова ее были: "Вот ведь, сударь, как, Ганс-то у меня помер!" Это был младший из ее сыновей. Я не вымолвил ни слова. "А муж – сказам она, – пришел из Швейцарии с пустыми руками; кабы не люди добрые, побираться бы пришлось, чтобы дойти, да и горячка дорогой скрутила!" Мне нечего было ей сказать, и я что-то дал парню. Она просила меня взять яблоки, я взял и ушел из этого печального угла.

21 августа

Не успеешь оглянуться, все у меня переменялось. Порой опять забрезжит радужное сияние жизни, – ах, на одно лишь мгновение! – Когда я этак погружаюсь в мечтания, не могу отделаться от мысли: а что бы Альберту умереть? Я бы стал...! Да, она бы стала... И я ношусь за этой химерой, покуда она не толкает меня к пропасти, от которой с трепетом пятишься.

Когда я выхожу из ворот на дорогу, по которой впервые ехал с Лоттой, провожая ее на танцы, до чего по-иному все выглядит. Все, все ушло! И намека нет на былое, нет и подобия моих тогдашних чувств. Я точно дух из могилы, воротившийся к сожженному, разрушенному замку, который он, в ту пору процветающий князь, соорудил и обставил на самый великолепный лад, а умирая, с надеждой оставил возлюбленному сыну.

3 сентября

Подчас я не понимаю, как *может* другой ее любить, как *смеет* ее любить, когда я люблю ее так самозабвенно, так искренно, так беспредельно, и ничего не знаю и знать не хочу, и нет у меня ничего, кроме нее!

4 сентября

Да, вот оно как. Природа клонится к осени, и во мне и кругом тоже осень. Листья мои желтеют, а соседние деревья

облетели. Не писал ли я тебе сразу по приезде о крестьянском парне? Нынче я снова справлялся о нем в Вальхайме; ему, как будто, отказали от места и никто про него не знает. Вчера я на него ненароком наткнулся, идя в другую деревню. Я с ним заговорил, и он поведал мне свою историю, которая тронула меня невероятно, что тебя не удивит, когда я ее перескажу. Зачем, однако? Почему не держать при себе то, что меня пугает и оскорбляет? Зачем еще и тебя огорчать? Зачем я все время даю тебе случай пожалеть меня и отругать? Да уж пускай, такая, наверное, моя судьба!

Сперва парень только отвечал мне на вопросы, и к безответной грусти, с которой он это делал, примешивалось смущение; но вскоре, узнав меня и словно бы освободившись, он разоткровенничался, сознался в своих проступках и стал пенять на беду. Вот бы, друг мой, представить тебе на суд каждое его слово! Он признался, и вроде даже с удовольствием от самого воспоминания, что страсть его к хозяйке росла день ото дня, и дошло до того, что он уже и не знал, что делает, о чем говорит и как ему быть. Он не мог ни есть, ни пить, ни спать, у него глотку схватывало, он делал, что не надо, а что велели, забывал, словно бес какой за ним ходил, покамест однажды, зная, что она в верхнем чулане, не пошел за ней или, точнее сказать, понесло за ней; она его слушать не стала, и он решил взять ее силой, – ему и невдомек даже, как это на него накатило, и Бог свидетель, что намерения его всегда были самые честные, и ничего ему так не хотелось, как, чтобы она за него вышла и всю жизнь с ним прожила. Некоторое время проговорив, он стал мяться, как всякий, у кого есть еще что сказать, да только он не решается, и, наконец, все еще робея, открыл мне какие вольности она ему позволяла и какую допускала простоту в обхождении. Он дважды и даже трижды останавливался и вдохновенно заверял, что не затем он это говорит, чтобы ее, как он выразился, обмазать, что он ее любит и уважает, как раньше, и никогда бы такого не вымолвил, а для того только мне сказал, чтобы доказать, что он не то чтобы вовсе совесть потерял или спятил. И здесь, дорогой, я опять завожу свою старую песню, которую вечно буду тянуть: показать бы тебе этого человека, каким я его видел и вижу доселе! Пересказать бы тебе все, как есть, чтобы ты ощутил, как я сочувствую его участи и не могу иначе. Но довольно, тебе известна моя участь, и меня ты знаешь, тебе стало быть ясно, отчего я тянусь ко всем несчастным и особенно к этому.

Перечитывая письмо, я обнаружил, что позабыл досказать окончание этой истории, впрочем, его легко себе представить. Хозяйка стала защищаться, прибежал ее брат, который парня издавна не терпел и давно хотел выжить, опасаясь, что ежели сестра опять выйдет замуж, от его детей уплывет наследство, на которое, поскольку она бездетна, есть все основания рассчитывать; тот его просто из дому вытолкал и такой развел вокруг трезвон, что женщина, даже если бы и сама захотела, не могла бы взять его обратно. Теперь она наняла другого работника и, говорят, из-за него тоже с братом разругалась, и за него выходит, – это, по слухам, дело решенное, но уж этому он твердо решил, при нем не бывать.

То, что я рассказываю, нисколько не утрировано, ничего тут нет нарочитого, даже, позволю себе сказать, жиже стало, потому что я плохо рассказал, да еще все огрубил, перелагая нашими обыденными пристойными словами.

Подобная любовь, подобная верность, подобная страсть вовсе, выходит, не поэтическое измышление. Она жива, она в неприкосновенной чистоте есть у той категории людей, которых мы именуем необразованными, именуем неотесанными. А мы-то образованные до какого ничтожества обезобразились! Прошу тебя сосредоточиться, читая эту историю. Я нынче успокоился, покуда ее писал; сам видишь, написано ровно и чисто, а не то, что всегда. Читай, дорогой, и считай, что это одновременно история твоего друга. Да, такое было со мной, и такое будет со мной, хоть нет у меня и вполчину той смелости, и вполчину той решимости, что у несчастного бедняги, с которым я не рискую себя равнять.

5 сентября

Она написала записочку мужу в деревню, где он задержался по делам. В начале стояло: "Милый, любимый, приходи, как только сможешь, поджидаю, заранее радуясь". Приятель, прибывший оттуда, сообщил, что по некоторым обстоятельствам муж вернется не так еще скоро. Письмецо осталось неотправленным и вечером попало ко мне в руки. Я прочел и улыбнулся. Она спросила чему? "Разве воображение не божественный дар" – воскликнул я, – Я на минуту поверил, что это обращено ко мне". Она не ответила, разговор был ей, как видно, не по душе, и я умолк.

6 сентября

Трудно мне было набраться решимости и отказаться от своего простого синего фрака, в котором я впервые танцевал с Лоттой, но он не имел последнее время уже совершенно никакого вида. И я велел сшить себе фрак в точности как прежний, с таким же воротником и лацканами и к нему такой же желтый жилет и желтые панталоны.

Но ощущение от него не такое. Не знаю... Авось, со временем я его тоже полюблю.

12 сентября

Несколько дней она была в отъезде, сопровождая Альберта. Нынче я зашел к ней в комнату, она встала мне навстречу, и я с восторгом поцеловал ей руку.

Канарейка перелетела с зеркала к ней на плечо. "Новый друг!" – сказала она и поманила птенца себе на руку. "Он для моих малышей. Как его не полюбить! Взгляните! Когда я даю ему хлеба, крылышки у него трепещут и он аккуратно клюет. Он меня целует, смотрите!"

Она подставила птенцу губы, и он к ним приник так ласково, словно мог ощутить достающееся ему блаженство.

"Пускай он вас тоже поцелует!" – сказала она, передавая птенца мне. Кловик свершил путь от ее уст к моим и царапающее касание было как дуновение, как предвкушение нежнейшей неги.

"В его поцелуе – сказал я – есть жадность, он ищет пищи и пустых ласк ему мало".

"А он ест у меня изо рта" – сказала Лотта. Она зажала в губах несколько хлебных крошек и подставила их птенцу с улыбкой полной блаженства безгрешно-сочувственной любви.

Я отвел глаза. Она не должна это делать! Не должна возбуждать мое воображение картинами небесной безгрешности и счастья, не должна прерывать дремоту моего сердца, в которую его порой вовлекает равнодушие к жизни! – Но почему бы и нет? Она на меня полагается! Она знает, как я ее люблю!

15 сентября

С ума сойдешь, Вильгельм, от людей, не понимающих и не чувствующих того немногого, что представляет еще на

земле какую-то ценность. Помнишь ореховые деревья, под которыми мы с Лоттой сидели у доброго пастора в Шт., дивные ореховые деревья! Видит Бог, душе моей они всегда дарили великую отраду. Как уютно было от них у пастора во дворе, и как прохладно, и ветви какие росли роскошные! А воспоминания о добрых священниках, которые их в давние времена посадили! Учитель часто называл нам имя, которое слышал от деда; славный, наверное, был человек, и память о нем всегда оставалась для меня под этими деревьями святой. Так вот, изволь узнать, – учитель чуть не плакал, когда мы с ним вчера про это говорили, – деревья срубили. Срубили! Я сатанею, я сам готов убить скотину, которая ударила первой. Да я не знал бы куда деваться от горя, кабы у меня во дворе стояли такие деревья и какое-то иссохло бы от старости, а приходится видеть эдакое! Одно только хорошо, дорогой! Что все-таки значит чувство человеческое! Вся деревня гудит, и по тому как станут нынче носить масло и яйца и по всему отношению, госпожа пасторша уразумеет, надеюсь, какую рану нанесла своему дому. Ибо затеяла это именно *она*, жена нового пастора (прежнего нашего нет уже в живых), тощее, квелое создание, которой уже потому нет до людей никакого дела, что никому до нее дела нет. У дуры, изображающей грамотейку, вязывающейся в споры о церковном устройстве, усердствующей в новомодном морально-критическом перетолковании христианства и презирающей увлечения Лафатера, до того расшатано здоровье, что от мира божьего ей никакой радости. Только такая дрянь и могла срубить мои ореховые деревья. Пойми, мне в себя не придти. Подумай только, от палой листвы у нее на дворе грязь и затхлость, деревья застыт ей дневной свет, а чуть созреют орехи, мальчишки сбивают их камнями – это ей действует на нервы, это мешает ей сосредоточиться, когда она углубляется в сопоставление Кенникота, Землера и Михаэлиса. Увидав недовольство деревенского люда, – особенно же стариков, я спросил: "Почему вы такое допустили?" – "Коли староста хочет, – сказали они, – что уж поделаешь!" Одно только недурно вышло. Староста и пастор, который от жениных капризов не жиреет, вздумали на сей раз пожитья и поделиться; да судебное ведомство прознало и говорит: "Вязать и решить!" Судебное ведомство давно посягало на кусок двора, где стояли деревья, вот и выставило их на торги. Их наземь бросили! Эх, быть бы мне князем, я бы и пасторше,

и старосте и судебному ведомству... Князем! – Да будь я князем, стал бы я разве заботиться о деревьях?

10 октября

Чуть гляну в ее черные глаза, сразу радуюсь! Но, знаешь, мне досадно, что Альберт, похоже, не столь счастлив, как я надеялся... но я... я уверен, когда бы... Я не люблю многоточий, но иначе этого не выразишь... И по-моему, все понятно.

12 октября

Оссиан вытеснил у меня из души Гомера. В сколь странную страну влечет меня его величие! Ступать через пустошь гонимому бурей, влачащей души предков в клубящемся тумане под чуть брезжущим лунным светом. Поднявшись в горы слушать сквозь грохот лесных потоков едва различимое оханье духов в пещерах и голошенье девушки у покрытых мхом и поросших травой четырех камней, где спит благородный герой, ее любимый. После вижу я самого седого бродячего барда, он ищет в сей пустоши следы своих предков и – увы! – пред ним их могилы, и горько потом рыдая, он взор обращает к милой вечерней звезде, сокрывшейся в море бурливом, и воскресают в сердце героя былые времена, когда дружелюбный луч светил в грозный час храбрецам, и луна озаряла их венчанный гирляндами победоносный корабль. Я читаю глубокую скорбь на его челе и вижу последнего из великих вконец изможденным и клонящимся к могиле, вновь и вновь он впивает горькую жгучую радость, встречая бессильные тени своих усопших, и, озирая хладную землю и высокую колышущую траву, восклицает: "Странник придет, придет знававший меня в цветущую пору и спросит: "Где ныне певец, где сын Фингала прекрасный?" Путь его пролегает по моему надгробью и напрасно ему вопрошать на земле про меня". О, друг мой, мне хочется подобно благородному оруженосцу немедля обнажить меч и разом освободить моего князя от жестокой лихорадки медленного угасания, а вдогонку освобожденному полубогу отправить собственную душу.

19 октября

Ах, эта брешь, эта страшная брешь, которую я ощущаю в груди. Нередко а думаю, что если хотя бы однажды, хотя бы однажды, мне прижать ее к сердцу, вся бы эта брешь заросла.

26 октября

Ах, для меня очевидно, милый, очевидно и все очевидней, что жизни человеческой цена невелика, совсем невелика. Пришла к Лотте приятельница, и я отправился в соседнюю комнату за книжкой, но читать не смог, а взялся за перо, намереваясь писать. Мне было слышно, что они говорили: рассказывали друг другу безделицы, городские новости: одна выходит замуж, другая больна, тяжело больна. "У нее сухой кашель, лицо осунулось, то и дело припадки; я за ее жизнь и гроша не дам" – говорила приятельница. "А Н. Н. тоже нехорош" – говорила Лотта. "Его всего раздуло" – говорила приятельница. – Мое живое воображение перенесло меня к постелям этих несчастных; я представил себе, до чего им не хочется поворачиваться к жизни спиной, до чего они... Вильгельм, а кумушки мои говорили про это, как всегда про это говорят – кто-то где-то умер. И когда я озираюсь, и вижу комнату, и лоттины платья кругом, и альбертовы бумаги, и мебель, с которой свыкся, и эту чернильницу, я думаю: "Ну, кто ты в этом доме? Ну, кто в самом-то деле? Друзья тебя уважают, ты им часто доставляешь удовольствие, тебе кажется, что без них и нельзя никак; и все-таки – если ты уйдешь, если ты удалишься из этого круга, будут ли они – и как долго будут? – ощущать брешь, которую твое исчезновение пробьет в их судьбе? Как долго? – О, бренность жизни человеческой, даже и там, где человек и впрямь бывает какой он есть, где остается единственный достоверный след его бытия – в памяти, в душах тех, кто его любит, даже и там надлежит ему угаснуть и пропасть, и так быстро!

27 октября

Хочется порой грудь себе разорвать и голову расшибить от того, что люди друг другу почти ничего возместить не могут. Ах, если нет во мне любви, радости, тепла, упоения, никто другой мне их не дает, и сердце мое, переполняясь

блаженством, не осчастливит другого человека, если тот холоден и бессилён.

27 октября вечером

Многое мне досталось, но все пожирает чувство к ней, многое мне досталось, но без нее все обращается в ничто.

30 октября

Не готов я был разве уже сотни раз броситься ей на шею? Господу ведомо, каково напасть на своем пути на такое очарование и не сметь за него схватиться. А ведь стремление ухватить в природе человеческой. Разве дети не хватают, что в голову взбретет? Что же я?

3 ноября

Видит бог, я часто ложусь спать с желанием, временами даже с надеждой, не проснуться; а утром открываю глаза, вижу солнце и мне худо. Быть бы мне брюзгой, и можно свалить вину на погоду, на первого встречного, на неудачу в делах: тогда нестерпимый груз горечи давил бы вполонину. К несчастью, я слишком ясно ощущаю, что вина на мне – да и не вина вовсе! Просто во мне самом источник всех несчастий, как некогда был источник всех радостей. Но не тот же я разве, кто, безраздельно отдаваясь чувству, обретал прежде рай на каждом шагу, кто в нежном сердце своем вмещал целый мир? А ныне сердце мертво, никакой восторг из него не воспаряет, глаза просохли, и от мыслей, не орошенных целительными слезами, на лбу пролегли невеселые складки. Я терзаюсь тем, что утратил единственное счастье моей жизни, священную живительную силу, с которой созидал вокруг себя миры. Она ушла! – Когда я гляжу в окно и вижу, что над отдаленными холмами сквозь туман пробивается восходящее солнце, озаря тихие луга, а плавная река, змеясь меж двумя облетевшими ивами, движется ко мне... О, вся эта дивная природа окостенела для меня, как лакированная картинка, и все ее прелести не в состоянии перекачать мне в мозг хоть каплю благодати из сердца, – и стоит человек пред ликом божьим как иссякший колодец, как дырявое ведро. Часто я падал ниц и молил господу ниспослать мне слезы, как пахарь молит ниспослать дождь, когда у неба нет жалости, а земля иссохла.

Но, увы, я чувствую, господь посылает дождь или жару не от наших порывистых молений, и времена, воспоминание о которых меня мучит, не от того ли были так хороши, что я терпеливо дожидался духа божьего, и блаженство, которое он на меня изливал, принимал всей моей благодарной душой.

8 ноября

Она корила меня за буйство! И до чего же ласково корила! А всего-то буйства, что прельстясь иногда стаканом вина, выпью бутылку. "Не надо этого!" – говорит она, – "Помните о Лотте!" – "Помнить? – сказал я, – По-вашему, надо это мне советовать? Помню! Не помню! Вы всегда у меня в душе. Нынче сидел я там, где вы давеча выходили из кареты..." Она заговорила о другом, чтобы я в этот сюжет не углублялся. Милый, я пропал! Она может со мной сделать, что захочет.

15 ноября

Спасибо тебе, Вильгельм, за сердечное сочувствие, за твой благожелательный совет, и прошу тебя, не беспокойся. Дозволь уж мне это снести; при всем изнеможении моем сил еще достанет. Как тебе известно, я уважаю веру в бога, и знаю, что для множества обессиленных она – посох, для множества томящихся – отрада. Но только может ли, должна ли она стать посохом и отрадой каждому? Когда озираешь мир, видишь тысячи, для которых это не так. Тысячи, для которых это и не будет так, крещены они там или не крещены, – почему же так должно быть для меня? Не сказал разве сын божий, что те пребудут с ним, кого отец ему дал? А коли меня не дал? Коли отец, как сердце мне подсказывает, оставил меня при себе? – Умоляю, не истолкуй это превратно, не усмотри иронии в моих безгрешных словах: я тебе душу открываю, не то бы лучше и вовсе мне помалкивать. О том, что мне так же плохо известно как всякому, я ведь и словечка не пророню. Но не в том ли удел человеческий, чтобы выстрадать положенное, испить свою чашу. – И если богу небесному в людской его юдоли чаша эта показалась не в меру горька, что же мне задирать нос и делать вид, будто мне она по вкусу? И чего стыдиться в роковое мгновение, когда все существо мое трепещет меж бытием и небытием, когда былое, словно молния, озаряет темную бездну грядущего, и все вокруг пропадает, и вместе со мной прахом идет целый мир. – Отчего же без остатка ушедшей в себя,

потерявшей себя и неудержимо скатывающейся вниз твари не выдавить из последних своих попусту растраченных сил: "Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?" И надо ли мне стыдиться этого крика, надо ли мне страшиться этой минуты, когда от нее не ушел и тот, кто свивает небо как свиток.

21 ноября

Она не видит, не чувствует, что готовит отраву, которая изведет и меня и ее; а я сладострастно тяну питье, которое она подносит мне на погибель. Откуда этот благостный взгляд, которым часто – часто? – нет, не часто, но подчас, глядит она на меня, откуда душевность, с которой принимает она произвольные изъяснения моего чувства, откуда сострадание к моей терпеливости, написанное у нее на лице?

Вчера, когда я уходил, она подала мне руку и сказала: "До свиданья, милый Вертер!" – "Милый Вертер!" Это впервые она назвала меня милым, и меня как насквозь пронзило, я бесконечно себе это повторял, а вечером, укладываясь и болтая сам с собой чепуху, вдруг проронил: "Спокойной ночи, милый Вертер!" И самому пришлось над собой посмеяться.

22 ноября

Я не могу молить бога: "Оставь ее мне!", но зачастую мне кажется, что она моя. Я не могу молить бога: "Отдай ее мне!", потому что она принадлежит другому. Я выастриваюсь по поводу собственных несчастий; кабы дал себе волю, от парадоксов не было бы спасу.

24 ноября

Она ощущает, что я испытываю. Нынче ее взор проник мне в самое сердце. Я застал ее одну, ничего не говорил, и она поглядела на меня. И я не видел больше ее несравненной красоты, не видел света высокого ума, все это для меня померкло. Меня пронзил взор, куда прекрасней, полный искреннейшего сочувствия, сладчайшего участия. Почему я не посмел броситься к ее ногам? Почему я не посмел кинуться в ответ ей на шею и целовать? Она спаслась, присев к клавишину и сопроводив игру благостным звучанием своего чуть слышного голоса. Никогда еще губы ее не казались мне столь

прельстительны. Они, как будто, раскрывались, чтобы утолить жажду, впивая сладостную гармонию, льющуюся из инструмента, и лишь в ответ испускали нежный отзвук. – О, если бы я мог тебе это пересказать! Я уже не сопротивлялся, и склонившись, дал клятву: никогда не посмею я запечатлеть поцелуй на этих устах, подле которых витают духи небесные! – И все же... я хочу... Ты понимаешь, пред моей душой словно бы барьер... это блаженство... А вкусив, искупить грех... да и грех ли?

26 ноября

Порой говорю себе: у тебя одного такая судьба, других я считаю счастливыми – никто еще так не маялся. Потом читаю старинного поэта и словно бы в душу себе гляжу. Такого я натырелся! Ах, знали разве люди прежде эти муки?

30 ноября

Не придти мне в себя, никак не придти! Куда ни ступлю, навстречу такое, что поневоле теряешь присутствие духа. Вот и нынче! О, судьба! О, люди!

Я шел вдоль реки в обеденный час; обедать не было ни малейшей охоты. Кругом было пусто, с гор дул промозглый вечерний ветер и серые тучи застилали долину. Издалека я заметил, что между скалами карабкается человек в плохоньком зеленом пиджаке и вроде бы собирает травы. Когда же я подошел поближе, и он, услышав шорох, обернулся, я увидел весьма занятную физиономию. Главной ее особенностью была безгласная печаль, не мешавшая однако различить прямой и добрый нрав; его черные волосы были подколоты шпильками в два завитка по сторонам, а остальные заплетены в толстую косу, свисавшую сзади. Поскольку по платью он показался мне человеком из низов, я шел, что не будет ничего оскорбительного, если я полюбопытствую насчет его занятия, и спросил, что он ищет. "Ищу цветы, – ответил он, тяжело вздохнув, – и ни одного нет". "Для них не сезон" – улыбнулся я. "Да цветов-то много, – сказал он, подойдя ближе, – у меня в саду розы цветут и сирень двух сортов, один мне отец дал, она как бурьян растет; два дня ее ищу и все не найду. Тут на вольном воздухе всегда цветики – желтые, и голубые, и красные, и у золототысячника тоже цветочки славные. Ни одного не сыскать!" Чувствую – дичь какая-то, и подбираюсь

околями: "На что же вам цветы?" Странная, судорожная улыбка перекосила его лицо. "Только не выдавайте, – сказал он, прижимая к губам палец, – я обещал букет моей ненаглядной". "Недурно!" -- сказал я. "Да у нее, – сказал он, – много чего еще есть, она богатая". "И все же ей будет приятно подучить от вас букет" – заметил я. "Ах, – продолжал он, – у нее и жемчуга есть и корона." – "Кто же она такая?" – "Кабы мне Генеральные Штаты заплатили, – ответил он, – я бы другой стал человек. Да, было время. А нынче мне шабаш. Нынче я..." – обращенный к небу влажный взор досказал остальное. "Вы, значит, были счастливы?" – спросил я. "Эх, кабы так сызнова! – сказал он, – Славно мне было, и весело, и раздольно, как рыбе в воде". "Генрих! – позвала старуха, показавшаяся на дороге. – Генрих, ты куда подевался! Везде тебя ищем! Иди поешь!" – "Это Ваш сын?" – спросил я, подойдя к ней. "Да, мой несчастный сын, – ответила она, – Тяжелый крест господь на меня возложил". – "Давно он так?" – спросил я. "Да уж с полгода, как поутих, – сказала она, – Благодарение господу, не такой буйный стал, а то ведь целый год в сумасшедшем доме на цепи просидел. Он теперь никого не обижает, только все с королями да царями занимается. А был-то тихий, добрый человек, мне на пропитание давал, работал, почерк у него красивый был, а тут как-то задумался, горячка у него началась, а после буйство, и вот какой стал. Рассказала бы я Вам, сударь,..." Я прервал ее излияния вопросом: "А что это он нахваливает за времена, когда счастлив был, когда было ему хорошо?" – "Что за дурачок! – воскликнула она, улыбаясь от жалости, – это он время, когда не в себе был, все хвалит, время, когда в сумасшедшем доме сидел и понимать про себя не мог". Это потрясло меня, как удар грома, я сунул ей в руку деньги и торопливо ушел.

Я поспешил в город, и по дороге у меня вырвалось: "Счастлив ты был, когда был, как рыба в воде"! Боже небесный! Нарочно что ли положил ты людям знать счастье лишь до того, как обретут они разум, или после того, как его потеряют! Горемычный! А я ведь еще и завидую твоей меланхолии и смятению ума, от которых ты изнемогаешь! Полный надежд идешь ты собирать цветы для своей королевы – это среди зимы-то – и горюешь. что ни одного не сыскал, и не понимаешь отчего и сыскать-то не мог. А я ведь... – я выхожу без надежды, без цели, и возвращаюсь с чем ушел. – Ты гредишь, каким бы ты был кабы тебе заплатили Генеральные Штаты! Блажен, кто может объяснить свои

несчастья земными обстоятельствами! Ты не ощущаешь, не ощущаешь, что беда твоя в твоём разбитом сердце, в твоём расстроенном уме, и все короли мира помочь тебе тут не в силах!"

Нет пощады тому, кто глумится над больным, пускающимся в путь к роднику, воды которого лишь умножат его болезни и отравят последние минуты; нет пощады тому, кто чванится пред измученным существом, отправляющимся в надежде успокоить совесть и облегчить душевную боль ко гробу господню. Каждый шаг, который, разбивая ноги в кровь, он сделает по девственному лесу, вносит умиротворение в запуганную душу, и целый долгий день прошагав по дорожке, он не с таким тяжёлым сердцем отходит ко сну. И, нежась на перинах, вы, краснобаи, зовете это ослеплением? Ослепление! О, господи! ты видишь мои слезы? Зачем, сотворив человека сирым и убогим, вздумал ты наделять его еще братьями, которые отберут последнее, что есть, последнюю надежду, которую он возлагает на тебя, на тебя, всеблагодать! Ибо что же и есть эта надежда на целебный корень, на слезы виноградной лозы, если не надежда на тебя, ибо кто же, как не ты, вложил во все окружающее нас целебную и успокоительную силу, всякий час нам надобную? Отец, неведомый мне! Отец, наполнявший мне прежде всю душу, а ныне отвративший от меня свой лик! Призови меня к себе! Разомкни уста! Мою взалкавшую душу тебе не сдержать молчанием. Стал бы разве человек, стал бы отец гневаться, если бы вдруг воротился сын, бросился к нему на грудь и закричал: "Снова я с тобой, отец, не гневайся, что я бросил странствие, в котором по воле твоей надлежало мне продержаться дольше. Мир всюду одинаков, за работу и усердие – плата и наслаждения; только что мне в них? Мне хорошо лишь с тобой, и лишь пред ликом твоим хочу я страдать и радоваться"! – Неужто же ты, возлюбленный отец наш небесный, оттолкнешь его?

1 декабря

Вильгельм, человек, о котором я тебе писал, этот счастливый несчастный, был писцом у лоттинового отца и страсть к ней, затаенная, но все же обнаружившаяся, – из-за чего он и был уволен, – довела его до безумия. Пойми по этим сухим строкам, как всколыхнула меня его история, которую Альберт мне так же хладнокровно рассказывал, как ты, должно быть, прочитаешь.

4 декабря

Прошу тебя, – со мной, как видишь, покончено, я больше не могу! Сижу я нынче у нее... сижу, а она играет на клавишине разные мелодии, и всякая берет за душу. Всякая! Всякая! Что тут поделаешь? – Ее сестренка наряжает у меня на коленях куклу. Я едва удерживаюсь, чтобы не заплакать. И вот наклонился, и на глаза попало ее обручальное кольцо – и слезы хлынули. И она сразу начала прежний божественный мотив, и сразу в душу вошло чувство облегчения и воспоминания о минувшем, о временах, когда я слушал эту песню, о мрачной поре передраги, о несбывшихся надеждах, и потом... Я шагнул по комнате от стенки до стенки, сердце переполнилось. "Бога ради, -- сказал я, стремительно направившись к ней, – бога ради, перестаньте". Она остановилась и удивленно поглядела на меня. "Вертер, – сказала она с улыбкой, пронзившей мне душу, – Вертер, вы очень больны. Вам не по душе даже самое любимое. Уходите, успокойтесь, прошу Вас". Я отскочил от нее и... Господи, ты видишь мои мучения и ты покончишь с ними.

6 декабря

Облик ее преследует меня! Наяву и во сне он заполняет мне душу! Чуть сомкну глаза, и у меня за лобной костью, где прячется внутреннее зрение, стоят ее черные глаза. Здесь! Я не могу тебе это объяснить. Я закрываю глаза – они тут; точно море, точно пропасть, возникают они предо мной и во мне, заполняя все помыслы.

Что такое человек, именуемый полубогом? Разве силы не оставляют его именно там, где он больше всего в них нуждается? И воспаряющего от восторга или предающегося печали, всегда его что-то удерживает и возвращает сызнова к плоскому, холодному сознанию, хоть он и собирался погрузиться в бесконечность.

ИЗДАТЕЛЬ – ЧИТАТЕЛЮ

Мне очень бы хотелось, чтобы уцелело побольше собственноручных свидетельств нашего друга о его последних, достопамятных днях, и не было нужды прерывать череду уцелевших писем моим повествованием.

Я считал себя обязанным позаботиться о том, чтобы получить точные сведения у тех, кто мог толково рассказать его историю; она проста и, за вычетом мелочей, сообщения единообразны; лишь о мотивах действующих лиц мнения различны и суждения расходятся.

Остается добросовестно пересказать то, что, не без труда, удалось установить, и приложить письма, оставленные покойником, не пренебрегая и ничтожнейшими из найденных клочков, – отдадим себе отчет, сколь сложно выяснить глубинные, истинные побуждения всякого поступка, совершаемого людьми из ряда вон выходящими.

Дурное настроение и отвращение к окружающему все глубже укоренялись у Вертера в душе, сплетались там все тесней и, шаг за шагом, овладевали им безраздельно. Душа его окончательно утратила внутреннее согласие; подспудный жар и неуравновешенность, охватившие все его существо, действовали пагубно и привели, наконец, к полному упадку сил, которому он сопротивлялся еще неуверенней, чем всем прежним бедам. Сердечное беспокойство разъедало прочие его душевные свойства, живость и проницательность; в обществе он стал жалок, выглядел несчастным и чем был несчастней, тем несправедливей. Так, по крайней мере, утверждают друзья Альберта; они говорят, что судить об этом приличном и уравновешенном человеке, обретшем давно желанное счастье, и о его поступках, направленных на то, чтобы уберечь свое счастье на будущее, менее всего мог Вертер, который, так сказать, за день сжирал все, что у него было, чтобы к вечеру голодать. Альберт, говорят они, не успел сколько-нибудь измениться, и был все таким же, каким Вертер его с самого начала знал, ценил и уважал. Он любил Лотту больше всего на свете, гордился ею и хотел, чтобы и все другие почитали ее чудеснейшим созданием. Что же предосудительного, если он и хотел предотвратить самую возможность подозрения, если у него не было охоты хоть на мгновение с кем-нибудь делить, даже и совершенно безгрешно, свое драгоценное достояние? Они подтверждают, что когда у его жены сидел Вертер, Альберт нередко выходил из комнаты, но на их взгляд, он

делал это не из неприязни или ненависти к другу, а только потому, что ощущал, сколь обременительно для друга его присутствие.

Лоттинога отца одолела болезнь, выходить ему было нельзя, он прислал за Лоттой карету и дочь поехала к нему. Стоял дивный зимний день, первый снег был обильным и щедро усыпал окрестность.

На другой день Вертер с утра отправился за Лоттой, чтобы, если Альберт за ней не заедет, проводить ее домой.

Ясная погода не разогнала его унылости, угрюмая печать легла на душу, печальные картины заполонили ее и на ум шли только мрачные мысли.

Поскольку он вечно бывал с собой не в ладу, чужая жизнь представлялась ему тоже тревожной и сумбурной. Он полагал, что добрые отношения меж Альбертом и его супругой рухнули, и в упреках, которые он по этому поводу обращал к себе, таилось раздражение против мужа.

Дорогой он размышлял о том же. "Еще бы, – говорил он сам себе, втихомолку скрежеща зубами, – доверительное, дружеское, ласковое и во всем сочувственное обхождение, покойная и надежная верность! Пресыщенность это и равнодушие! Разве любая жалкая работенка не влечет его больше, нежели драгоценная обожаемая жена? Ценит он свое счастье? Почитает жену, как ей бы подобало? – Он ею владеет, вот именно владеет... – Это я знаю, но я и кое-что еще знаю; думал я, что привыкну к этой мысли, но она меня с ума сведет, да еще и прикончит... А дружбе нашей разве он не изменил? Не усматривает разве он в самой моей преданности Лотте вмешательство в его права, а в моих заботах о ней – безмолвный упрек? Знаю, чувствую – он не рад меня видеть, он жаждет моего отъезда, мое присутствие ему в тягость!"

То и дело он умерял свой быстрый шаг, то и дело останавливался и словно бы хотел воротиться; однако же снова шел дальше, и отдаваясь всем этим мыслям и сам с собой беседуя, как бы не желая того, добрал, наконец, до охотничьего домика.

Он вошел, справился о старике и о Лотте и заметил в доме какое-то возбуждение. Старший мальчик сказал, что в Вальхайме случилась беда, мужика убили! – На него это впечатления не произвело. – Он вошел в комнату и застал Лотту, пытавшуюся переубедить отца, который, не взирая на болезнь, хотел ехать и на месте расследовать преступление. Еще не знали, кто убил, мертвеца обнаружили утром у входа в

дом, но кое-какие подозрения были: убитый служил в батраках у вдовы, державшей прежде другого батрака, с которым у нее вышла ссора.

Услышав такое, Вертер запальчиво вскочил. "Неужели? – закричал он, – Надо бежать туда. Я не могу ждать ни минуты". Он помчался в Вальхайм, воспоминания ожили в нем, и он ни минуты не сомневался, что убил человек, который с ним не раз говорил и стал ему дорог.

Пройдя меж липами к трактиру, куда снесли тело, он ужаснулся виду излюбленного своего уголка. Порог, у которого обычно играли соседские дети, был в крови. Любовь и верность, прекраснейшие человеческие чувства, обернулись насилием и душегубством. Огромные деревья стояли голые и заиндевевшие, красивая живая изгородь, обнимавшая невысокую стену церковного двора, тоже вся облетела, и взору открывались надгробные камни, занесенные снегом.

Когда он был уже у трактира, перед которым собралась вся деревня, раздался крик. Издалека видна была группа вооруженных людей, и кругом стали вопить, что ведут убийцу. Вертер взглянул, и сомнений не осталось. Действительно, это был батрак, который любил вдову и еще недавно, затаив злобу и пряча отчаянье, бродил по округе и попадался ему на глаза.

"Что ты натворил, несчастный!" – воскликнул Вертер, бросившись к арестанту. Тот невозмутимо на него поглядел, помолчал и под конец спокойно ответил: "Никому она не достанется и ей никто не достанется". Арестанта увели в трактир, и Вертер торопливо ушел.

Это ужасавшее, беспощадное впечатление всего его перевернуло. Он вырвался на миг из своей печали, своей мрачности, своей равнодушной уступчивости, сострадание захлестнуло его неодолимо, его обуревало невыразимое желание спасти этого человека. Он считал его до того несчастным, что даже, собственно, неповинным в преступлении; он так глубоко входил в его положение, что надеялся наверняка внушить это остальным. Он жаждал сказать за него слово, жаркая речь уже рвалась с уст, он спешил к охотничьему домику и не мог удержаться, чтобы не выговорить по дороге все, что собирался доказать управителю.

Войдя в помещение, он застал там Альберта, это на миг его раздосадовало, но он собрался с духом и пылко высказал управителю свои убеждения. Старик то и дело качал головой, и хоть Вертер необычайно живо, страстно и искренне выложил все, что способен сказать один человек в оправдание другому,

управитель, как легко себе представить, отнюдь не растрогался. Более того, не дав нашему другу договорить, стал яростно возражать и выбранил за то, что взялся защищать убитого из-за угла. Он сказал, что если так рассуждать, будет упразднен всякий закон и расшатана безопасность государства, добавив, что он в подобном случае ничего поделать не может, не взвалив на себя чрезмерную ответственность; все должно идти своим порядком и установленным путем.

Вертер не отступал и просил уже, чтобы управитель хотя бы посмотрел сквозь пальцы на то, что человеку помогут бежать. Но и в этом управитель отказал. Альберт, вмешавшись, в конце концов, в разговор, тоже встал на сторону старика: Вертер оказался в меньшинстве и ушел, убитый горем, после того как управитель еще несколько раз повторил: "Нет, ничто его не спасет".

До чего глубоко эти слова его задели, видно по записи, которую нашли в его бумагах, сделанной явно в тот именно день:

"Ничто тебя не спасет, несчастный. Оно понятно, мы не из тех, кого что-то спасет".

То, что Альберт под конец говорил при управителе по делу арестанта, было Вертеру до крайности неприятно: он усмотрел тут нечто направленное прямо против себя, и, хоть у него хватило сообразительности, чтобы, поразмыслив, не отрицать, что оба чиновника правы, все же признать это, согласиться с этим, было для него все равно, что отступить от себя самого.

Листочек с записью по этому поводу выражающий, пожалуй, все его отношение к Альберту, мы нашли среди бумаг.

"Что толку, если я стану вновь и вновь себе повторять: он славный, он хороший, когда меня от него воротит. Я не в состоянии быть праведником".

Вечер стоял теплый, начинало подтаивать, и Лотта с Альбертом возвращались пешком. Дорогой она то и дело озиралась, словно жалела, что рядом нет Вертера. Альберт заговорил о нем, побранил, но воздал ему должное. Он упомянул о его несчастной страсти и высказался в том смысле, что надо бы держать его как-нибудь на расстоянии. "Я хочу

этого и ради нас самих, – сказал он, – и прошу тебя, – продолжал он, – принять меры, чтобы его обращение с тобой приняло иной характер и он приходил пореже. У людей есть глаза, и мне известно, что об этом уже говорят". Лотта молчала. Альберта ее молчание обидело, во всяком случае с тех пор он при ней о Вертере не упоминал, а если она его поминала, разговора не поддерживал или сворачивал на другое.

Напрасная попытка Вертера спасти несчастного была последней вспышкой угасающего пламени, он все глубже погружался в страдание и ничегонеделанье; и совсем его вывели из себя слухи, что от него, вероятно, потребуют выступить свидетелем против парня, который стал теперь отпираться.

Все неприятности, настигавшие на жизненном поприще, включая происшедшее в пору службы в посольстве, все, что не удалось, все, что оскорбило, вновь и вновь овладевало его мыслями. Все это он считал оправданием своему ничегонеделанью, он считал, что для него отрезаны всякие надежды, что он неспособен овладеть навыками, надобными для обывденной жизни и ее занятий; в конце концов он всецело ушел в свои диковинные ощущения, свое восприятие мира, свою беспредельную страсть и вечное однообразие печальных встреч с милым и дорогим существом, у которого он отнимал покой, – и в таком расточении сил без надежды и без цели подвигался все ближе к печальному финалу.

О его смятении и страсти, о его неустанных мечтаниях и порывах, о его разочаровании в жизни ярче всего свидетельствуют немногие уцелевшие письма, которые мы здесь помещаем.

„12 декабря

Дорогой Вильгельм, я в таком состоянии, какое бывало, должно быть, у тех несчастных, в которых, по общему мнению, вселился злой дух. Что-то меня порой одолевает, не страх, не страсть, что-то неведомое во мне буйствует, грозя разорвать грудь и схватить за глотку. Увы! Увы! И я уйду бродить среди странных ночных картин недоброго к людям времени года.

Мне было вчера вечером не усидеть. Нежданно грянула оттепель; я слышал, река вышла из берегов, все ручьи поднялись, и мою любимую долину отсюда до Вальхайма

затопило! Я выскочил после одиннадцати ночи. Каково увидеть с обрыва устрашающую игру потоков, пробивающих себе при лунном свете дорогу поверх полей, лугов, пастбищ и бескрайнюю долину, обратившуюся в *единое* море, бушующее под завывание ветра! А когда опять показывалась луна, застывая меж черными тучами, и передо мной, зловеще отблескивая, катил и ревел поток, меня бросало в дрожь и сызнава манило! Ах, раскрыв объятия, стоял я над пропастью и дышал одним – вниз! Вниз! И забывал себя ради счастья свалить вниз мои муки и страдания, скатиться туда, как волны. Увы! – ноги было не оторвать от земли и не смог я покончить с мучениями! Я чувствую, мой час еще не пробил. О, Вильгельм! Как охотно бы отдал я свой человеческий удел за то, чтобы вместе с бурей разрывать облака и поворачивать потоки! Ах, ужели дано будет заключенному изведать такое блаженство?

А с каким огорчением глядел я туда, где мы с Лоттой внизу отдыхали под ивой после прогулки в жаркий день, – и там все затопило, иву я едва сыскал. Вильгельм! А что же ее луга – подумал я, – и окрестности ее охотничьего домика! А не погубило ли это хищное течение нашу беседку! – думал я. И солнечный луч былого проникал в меня как в душу томящегося в плену сон о стадах, лугах и почете! Я не двигался с места! Я себе не выговариваю, потому что у меня хватит духа умереть. Да я бы... А сижу теперь как старая баба, подбирающая хворост под забором и хлеб под дверь, чтобы хоть на миг продлить и облегчить свое дотлевающее, убогое существование".

"14 декабря

Что же это, милый? Сам я себя пугаюсь! Разве любовь моя к ней не самая святая, не самая чистая, братская любовь? Разве были когда-нибудь у меня в душе преступные желания? Клясться не стану... Но эти сны! О, как точно судили люди, приписывая противоречивые порывы чужому воздействию! Этой ночью, вымолвить странно, я ее обнимал, жарко прижимал к груди и покрывал ее лепечущие о любви уста неисчислимыми поцелуями, а глаза мои погружались в ее упоенные очи! Господи, ужели преступно, что и поныне я ощущаю, какое блаженство испить во всей полноте эту пламенную радость? Лотта! Лотта! Мне конец! У меня рассудок помутился, уже неделю я опомниться не могу, а глаза полны слез. Нигде мне не хорошо и всюду хорошо. Ничего я не хочу, ничего мне не надо. Надо было мне уходить!"

При таких обстоятельствах решение оставить мир обретало у Вергера в душе все большую определенность. Со времени возвращения к Лотте это была его последняя надежда, последнее упование; но он сказал себе, что тут нельзя торопиться и поступать опрометчиво, он хотел совершить сей шаг, убедившись в его правильности и, по мере возможности, спокойно и без колебаний.

Его сомнения и споры с собой видны по записке без даты, найденной в бумагах, – должно быть, это начало письма к Вильгельму.

"Ничто, кроме ее существования, ее судьбы, ее сочувствия моей судьбе не выжмет уже и слезинки из моего перегоревшего сердца.

Отдернуть занавес и переступить -- вот и все! Зачем же робость и нерешительность? Затем, что неизвестно как оно там? И нет возврата? И затем еще, что так уж мы устроены, что ждем смуты и тьмы, если ничего не знаем достоверно.

Понемногу он сдружился и сроднился со своей невеселой идеей, и намерение стало твердым и необратимым, о чем свидетельствует нижеследующее сумбурное письмо к другу.

„20 декабря

Спасибо тебе, Вильгельм за то, что ты любишь меня и понял мое письмо. Ты, конечно, прав. Надо было мне уходить. Твое предложение вернуться к вам что-то меня не очень привлекает, во всяком случае, следует кое-куда еще завернуть, в особенности, учитывая нескончаемые холода и отличные дороги. Мне также очень приятно, что ты хочешь за мной захватить, только ты недели две погоды и дождись еще одного письма о моих намерениях. Главное, не обрывать того, что не созрело. А за две недели многое прояснится. Матери моей скажи, чтобы молилась за сына и что я прошу простить все огорчения, которые ей доставил. Такая уж моя судьба – удручать тех, кого должен бы радовать. Прощай, дорогой! Да благословит тебя господь! Прощай!“

Что происходило тем временем в душе у Лотты, что думала она о муже и о своем несчастном друге, мы едва ли решимся выразить словами, но хорошо зная ее характер, можно составить об этом понятие, и прекрасная женская душа

представит себе ее душевное состояние и будет ей сочувствовать.

Сколько известно, она твердо для себя решила сделать все, чтобы Вертера отдалить, и если медлила, то только из сердечной дружеской осторожности, потому что знала, каково ему придется, если он, вообще, это выдержит. Дело, между тем, принимало для нее серьезный оборот, хоть муж об этих отношениях не говорил, да и сама она о них никогда не говорила – тем более важно было ей доказать ему на деле, что по образу мыслей она его достойна.

В день, когда Вертер написал приведенное выше письмо другу, – это было воскресенье накануне Рождества, – придя вечером к Лотте, он застал ее одну. Она приводила в порядок игрушки, которые собиралась дарить к Рождеству Христову своим малышам. Он завел речь о предстоящем детям удовольствии, и о временах, когда вдруг распахивающаяся дверь и явление нарядного дерева с восковыми свечками, сладостями и яблоками приносило ему райское блаженство. "Вам тоже, – сказала Лотта, пряча смущение за милой улыбкой, – вам тоже кое-что достанется, если будете молодцом, – витая свеченька и еще что-нибудь". – "Что вы называете быть молодцом? – воскликнул он, – Каким надо мне быть? Каким я могу быть, дорогая Лотта?" – "В четверг вечером, – сказала она, – сочельник, дети придут и мой отец, каждому достанется, что положено, и вы тоже приходите, – только уж не раньше!" Вертер оторопел. "Я прошу вас, – продолжала она, – иначе нельзя, прошу вас, чтобы я была спокойна. Не может, не может это оставаться так". Он перестал на нее глядеть и зашагал взад-вперед по комнате, выдавливая сквозь зубы: "Не может это остаться так". Лотта, почувствовав, в какое ужасающее состояние привели его эти слова, силилась, спрашивая о том, о сем, изменить ход его мыслей, но напрасно. "Нет, Лотта, – закричал он, – мы с вами больше не увидимся!" – "Ну, почему? – возразила она, – Вертер, вы можете и вы должны с нами видиться, но возьмите себя в руки. О, зачем суждено вам было родиться с этой запальчивостью, с этой неукротимой страстностью во всем, за что вы ни возьметесь! Прошу вас, – продолжала она, беря его за руку, – остепенитесь! Ваш ум, ваша ученость, ваши таланты сулят вам всевозможные радости. Будьте мужчиной, откажитесь от приверженности к существу, которое способно вас только пожалеть". Он скрежетал зубами и угрюмо на нее глядел. Она держала его за руку. "Рассудите на минуту спокойно, – сказала она, – разве вы не видите, что

себя обманываете и нарочно себя губите? Почему я, Вертер, именно я, достойнее другого? Почему так? Боюсь, очень я боюсь, что лишь невозможность мной обладать возбуждает ваше желание". Он вырвал руку, бросив на Лотту пораженный и гневный взгляд. "Мудро! – воскликнул он, – весьма мудро! Альберт, поди, придумал? Хитро, весьма хитро!" – "Всякий это скажет, – возразила она. – Или в целом мире нет девушки, которая могла бы стать для вас желанной? Заставьте себя, поищите и, клянусь, вы отыщете; меня давно пугает, что и вы и мы так сузили круг знакомств, а теперь и совсем его замкнули. Заставьте себя. Вас наверняка развлечет путешествие! Поищите и найдите достойный вашей любви предмет и возвращайтесь, чтобы вместе с нами наслаждаться блаженством неподдельной дружбы".

"Да это надобно опубликовать! – сказал он с холодным смешком, – и рекомендовать всем наставникам юношества. Милая Лотта, дайте мне покамест покой, все встанет на свои места". – "Но только, Вертер, приходите не раньше сочельника". Он хотел ответить, но в комнату вошел Альберт. Оба кинули друг другу ледяное "добрый вечер" и стали, испытывая неловкость, шагать по комнате. Вертер пытался завести незначущий разговор, который тут же иссяк. Альберт тоже пробовал заговорить, потом спросил жену о каких-то поручениях и, услышав, что они не выполнены, обратился к ней о холодными и даже грубыми, как показалось Вертеру, словами. Он хотел уйти и не смел и медлил до восьми, его расстройство и раздражение между тем все росли, покуда не накрыли стол и он не схватился за трость и шляпу. Альберт пригласил его остаться, но, полагая, что это ничего не значащая вежливость, он холодно поблагодарил и ушел.

Он вернулся домой, взял из рук у слуги, хотевшего ему посветить, свечу, один прошел к себе и зарыдал, сердито сам с собой заговорил, ожесточенно зашагал по комнате и, наконец, как был одетый, кинулся на кровать, где его и обнаружил лакей, рискнувший около одиннадцати войти и спросить, не надо ли снять хозяину сапоги; он разрешил, но утром не велел лакею входить, покуда не позвуют.

В понедельник утром, двадцать первого декабря, он написал Лотте нижеследующее письмо, которое после его смерти нашли запечатанным у него на письменном столе и доставили ей, и которое я буду помещать здесь частями, так же, как он, судя по всему, его писал.

"Лотта, решено, я умру, и я пишу это тебе хладнокровно, без романтической восторженности, утром того дня, когда увижу тебя в последний раз. Когда ты будешь это читать, ненаглядная моя, холодная могила уже примет безгласные останки неугомонного и несчастного, для которого в последние мгновения жизни нет ничего слаще, нежели говорить с тобой. У меня была страшная и увы, благотворная ночь. Она укрепила и затвердила мое решение: я умру! Когда вчера я от тебя оторвался, когда все во мне отчаянно бунтовало и сердце переполнялось, меня вдруг доконал беспощадный хлад моего безнадежного, безрадостного прозябания при тебе, – я едва добрался до своей комнаты, бросился, позабыв себя, на колени и ты, о господи, даровал мне, как последнее утешение, горькие слезы! Тысячи побуждений, тысячи надежд бушевали в моей душе, покуда твердо и окончательно не отстоялась последняя, единственная мысль: я умру. – Я лег спать, а утром в безмятежный час пробуждения, она была еще тверда, еще владычила в моем сердце: я умру! – Это не отчаянье, это уверенность, что я свое совершил и жертвую собой ради тебя. И впрямь ведь, Лотта, к чему умалчивать? Одному из нас троих надо уйти, и это буду я! О, ненаглядная, в мое растерзанное сердце нередко закрадывались ужасные побуждения: убить твоего мужа... Тебя! Себя! Так быть по сему! Когда ты славным летним вечером взойдешь на гору, вспомни обо мне, вспомни, как часто ходил я этой долиной, а после погляди на кладбище, на мою могилу, на которой ветер в лучах заходящего солнца будет колыхать высокую траву. – Я был спокоен, когда начинал, а нынче, нынче плачу как ребенок, потому что все предо мной оживает..."

Около десяти Вертер позвал слугу и, одеваясь, сказал, что через несколько дней отправится путешествовать и поэтому следует вычистить платье и все приготовить, чтобы укладываться; он распорядился также запросить повсюду счета, вернуть чужие книги, а беднякам, которым обычно каждую неделю он чем-то помогал, выдать положенное за два месяца вперед.

Он велел принести еду к себе в комнату и, поев, сразу поскакал к управителю, которого дома не застал. В глубокой задумчивости ходил он по саду, словно хотел взгромоздить на себя напоследок все бремя безутешных воспоминаний.

Вскоре ему помешали малыши, они гонялись за ним, вскакивали на него и твердили, что не завтра, не послезавтра, а еще через один день Лотта им даст рождественские подарки, и толковали о чудесах, какие предвещало ребячье воображение. "Завтра – сказал он, – и послезавтра, и еще один день" – и всех сердечно перещеловал, и хотел уже было уйти, но самый маленький пожелал что-то еще сказать ему на ухо. Он открыл секрет: старшие братья написали красивые новогодние поздравления, *вот* такие большие! Одно папе, одно Альберту с Лоттой, и еще одно господину Вертеру; и в новый год утром их поднесут. Это было уже слишком, он каждому что-то сунул, сел на лошадь, наказал кланяться старику и со слезами на глазах ускакал.

Около пяти он воротился домой, поручил прислуге следить за печью и поддерживать огонь до ночи. Лакею он велел на самый низ уложить в сундук белье и книги и запаковать платье. Видимо, после этого он написал нижеследующий абзац последнего письма к Лотте.

"Ты меня не ждешь, ты надеешься, что я буду послушным и увижу тебя только в сочельник. О, Лотта! Нынче или никогда! В сочельник ты возьмешь в руки это письмо, и задрожешь, и от всего сердца заплачешь над ним. Задумал и сделал! О как хорошо мне стало оттого, что я решился".

Лотта, меж тем, испытывала странное чувство. Поговорив с Вертером, она ощутила, как нелегко будет ей с ним разлучиться, и как будет мучиться он, если придется разлучиться с ней.

При Альберте она как бы невзначай сказала, что Вертер до сочельника не явится, и Альберт поехал верхом к одному жившему неподалеку чиновнику, с которым вел дела, с тем, чтобы там уже и ночевать.

Она сидела одна, никого из родных не было, и она предалась размышлениям, невольно упоравшимся в отношения с близкими людьми. Она считала себя навеки связанной с мужем, в любви и преданности которого уверена, которому и сама всем сердцем предана, а его уравновешенность и основательность небо словно нарочно создало затем, чтобы порядочная женщина строила на них свое счастье; она отдавала себе отчет, чем он всегда будет для нее и ее детей. С другой стороны. Вертер стал ей так дорог, с первых минут знакомства сразу дала себя знать родственность их натур, а длительное

общение и пережитое вместе оставили в душе неизгладимый отпечаток. Всем стоящим, что она чувствовала и думала, она привыкла делиться с ним, и его отдаление грозило пробить во всем ее существовании такую брешь, какую никогда уже нельзя было бы заполнить. О, если бы можно было вдруг сделать его своим братом, как она была бы счастлива! – Вот женить бы его на ком-нибудь из подруг и появилась бы надежда опять уладить его отношения с Альбертом!

Одну за другой вспоминала она своих подруг и в каждой что-то ее останавливало, ни одну она не сочла для него подходящей.

За этими размышлениями она впервые глубоко ощутила, хоть и не вполне, быть может, отчетливо, что в тайниках души ей хочется удержать его при себе, хоть она и говорила себе, что не может его удерживать, не смеет его удерживать; на ее чистую, прекрасную, обычно безмятежную и легко смиряющуюся с судьбой натуру легла печать печали, оттого что к счастью доступа не было. Она была подавлена, глаза подернулись сумрачной поволокой.

И вот уже в половине седьмого она услышала как Вертер поднимается по лестнице, узнала его шаги, узнала голос, который справлялся о ней. Сердце ее заколотилось, впервые, пожалуй, от того, что он пришел. Она готова была сказать, что ее дома нет, и чуть он показался в каком-то бурном замешательстве ему бросила: "Вы не сдержали слова". – "Я ничего не обещал", – ответил он. "Так могли бы, хоть исполнить мою просьбу, – возразила она, – нам обоим нужен покой".

Она толком не знала что говорит, и в такой же мере не знала, что делает, посылая за какими-то подругами, чтобы не оставаться с Вертером вдвоем. Он выложил книги, которые брал, спросил о других, а ей то хотелось, чтобы подруги пришли поскорей, то, чтобы они вовсе не приходили. Служанка вернулась и сообщила, что обе просят их извинить.

Она хотела усадить по соседству служанку с работой, но после раздумала. Вертер ходил по комнате, она села за клавесин и стала играть менуэт, но ничего не выходило. Она взяла себя в руки и, как ни в чем не бывало, под села к Вертеру, который занял свое обычное место на диване.

"У вас нечего почитать?" – спросила она. У него ничего не было. "У меня тут в выдвижном ящике, – начала она, – ваш перевод песен Оссиана; я еще его не читала, все думала, вы мне прочитаете, да вот не случилось, не выходило". Он улыбнулся,

достал песни, но беря их в руки, весь затрепетал, а когда заглянул в них, глаза его заволокло слезами. Он сел и стал читать:

"Звезда мерцающей ночи, ты запад озарила; вздымаясь лучистой главой над облаками, движешься ты горделиво навстречу своим холмам. Что ищешь ты на лугу? Улеглись буйные ветры, слышны раскаты дальних горных потоков; шумные волны морские насакаивают на утесы; жужжанье вечерних мошек над полями плывет. Что ищешь ты, свет вечерний? Но смеешься ты и проходишь, тебя ласково обняли волны, волосы твои обмывая. Прощай, безмятежный луч. Явись, упоительный свет души Оссиана!

И вот является он во всем своем блеске. Я вижу ушедших из жизни друзей, они собрались на Лоре, как бывало в прежние дни. – Влажным туманным столпом приходит Фингал и герои его вокруг, – а дальше, гляди, старинные барды: седой Уллин, стройный Рино, Альпин, прелестный певец, и ты, печалющаяся Миньона. Как вы, друзья, изменились со времени пиршеств на Сельме, где состязались мы в песнопеньях, подобно весенним ветрам, колышавшим на холме чуть лепечущую траву.

Тут вышла Миньона во всей красе, с очами, глядящими долу и полными слез, переменчивый ветер с холмов развеивал ей волосы. – Опечалились души героев, услышав ее сладостный голос, ибо зрели они то надгробие Сальгара, то унылый приют белой Кольмы. Кольма ждет на холме, звенит ее ласковый голос; Сальгар придти обещал, а уже надвинулась ночь. Слушайте голос Кольмы, она одна на холме.

Кольма

Вот и ночь. Я одна, я забыта в грозу на холме. Ветер свистит в горах, на утесах рокочит ручьи. От дождя мне убежища нет, я забыта в грозу на холме.

Выходи, луна, из-за туч, загорайтесь звезды ночей! Пускай приведет меня чей-нибудь луч туда, где от тягот охоты отдыхает возлюбленный мой, а с ним рядом отпущенный лук и снуют подле милого псы. Каково же сидеть мне одной на утесе над шальным потоком. Буря стонет, грохочет поток и любимого мне не слышать.

Отчего Сальгар мой не спешит? Или слово свое позабыл? Вот скала, вот дуб, вот бурливый ручей! Обещал, чуть

займется ночь, быть он здесь, ах, или сбился мой Сальгар с пути? Я готова с тобой бежать, от отца и от братьев уйти, от моих гордецов! Меж родами моим и твоим не кончалась вражда, только мы ведь, о, Сальгар, с тобой не враги!

Ветер, чуть погоди, и ты, ручей, погоди, пусть голос мой прозвенит, пусть мой путник услышит меня. Сальгар, зову тебя я! Вот он дуб, и вот он, утес! Сальгар, возлюбленный мой, я здесь, что ж ты медлишь придти?

Гляди-ка, луна взошла, речка в долине блестит, серые камни торчат на холме, но милого нет на вершине, и не возвещают верные псы, что он скоро придет. Одна я должна тут сидеть.

Но кто там лежит внизу, на лугу? Мой милый? Мой брат? Скажите скорей! Но оба молчат. Страшно-то как! Ах, они оба мертвы! Их мечи окровавила сеча! О, брат мой, зачем Сальгара моего ты убил? О, мой Сальгар, зачем ты брата убил моего? Я любила обоих вас! На холме среди тысяч ты был прекраснее всех. Он был бесстрашен в бою. Отвечайте! – Нынче внимлите мне, дорогие мои! Но увы, безгласны они, безгласны навеки! У них грудь не теплее земли. С каменных холмов, с гор, опоясанных бурей, говорите, духи умерших, говорите, я не страшусь! Вы куда на покой удалились? Мне в каком вас искать горном склепе? Не слышать мне ни звука в дышании ветра, не слышать шепотка в завывании бури

Со своей тоской я сижу, дожидаюсь в слезах рассвета. Опочившим копайте могилу, друзья, но не засыпайте, покамест я не приду. Жизнь во мне исчезает как сон, – как дальше мне жить? Жить я с друзьями хочу, здесь над потоком в грохочущих скалах. Когда ночь сойдет на холмы, и хлынет ветер в долину, пусть живет мой дух в этом ветре и скорбит о смерти друзей. Дрогнет охотник, услышав мой голос, но полюбит его, ибо сладостно будет он петь о моих друзьях, я их любила обоих!

То твоя была песня, Миньона, смущенная, робкая дочка Тормана. Пропливали мы слезы о Кольтме, и души у нас омрачились. Уллин выступил с арфой и песню Альпина спел, – голос Альпина ласков был, рдела пламенем душа Рино. Но тесны их жилища ныне, голоса их пропали в Сельме. Раз вернулся Уллин с охоты, еще прежде, чем пали герои. Услыхал он их состязанье в песнопении на холме. Тихи были песни, но печальны. Оплакивали они Морара, первого из героев. Душа у него была, как у Фингала, а меч его был, как у Оскара – но он

пал, и отец его плакал, и в очах его сестры были слезы, были слезы в очах Миньоны, сестры прекрасного Морара. Чуть Улдин завел свою песню, сокрылась она, как луна, что предчувствуя бурю, прячет красивую голову в тучах. – И я, ударив по струнам, песню скорби с Уллином пел.

Рино

Минули дождь и ветер, сияет солнце в поддень, уходят облака. На миг теперь озарились холмы переменчивым светом и заалел поток, сбегающий с горы. Ты сладко, поток, лепечешь, но слышу я глас еще слаще. Это Альпина голос, он плачет над мертвецом. Голова склонилась от лет, и глаза от рыданий красны. Альпин, прекрасный певец, что ж на безмолвном холме ты один? Что ты плачешь, как ветер в чашобе, как волна на чужом берегу?

Альпин

Мои слезы, Рино – покойнику, голос мой – живущим в могилах. Ты на холме хорош, всех стройней меж сынов долины. Но и ты падешь, точно Морар, будут и у твоей могилы сидеть в печали. Холмы про тебя позабудут, лук ненапрянутый твой будет под кровлей без дела лежать.

Ловок, Морар, ты был, словно косуля в горах, грозен как на небе сполох. Бурей была твоя ярость, меч твой в бою как молния был над лугами, голос – как горный поток после дождей, как гром из-за дальней горы. От рук твоих многие пали, многих ярости пламя спалило. Но когда ты с войны возвращался, мирным было чело. Твой лик был подобен солнцу после грозы, подобен луне в безгласной ночи, а сердце спокойно как озеро, если ветра улеглись.

Тесен теперь твой дом и кругом темно. Могила длиной в три шага у того, кто был прежде велик! Четыре поросших мхом камня – единственная по тебе память; облетевшее дерево да высокая, шелестящая на ветру трава дают охотнику знать, что здесь могила могучего Морара. Нет матери у тебя, чтобы рыдать над тобой, нет девушки, чтобы любовь пролила слезу. Родившая тебя умерла, дочь Морглана погибла.

Кто это с посохом там? Кто там от старости сед, чьи очи от слез красны? Это отец твой, Морар, нет у него других сыновей. Он слышал, что ты к бою призвал, он слышал, что врагов ты рассеял, он слышал, что хвалы тебе пели... Ах, о

ранах твоих не слышал! Плачь, отец Морара, плачь! Только сын твой не слышит тебя. У покойника крепок сон, а подушка ему – прах земной. Не услышит он вовеки тебя и вовек не отзовется тебе. О, когда придет в могилу рассвет, чтобы спящему крикнуть: вставай!

Прощай, благороднейший из людей, стяжавший славу воитель! Никогда уже этим равнинам тебя не видать, никогда уже в сумраке леса твой блестящий булат не сверкнет! Не оставил ты сына, но песне дано сохранить твоё имя, о тебе услышат грядущие времена, услышат о Мораре поверженном.

Громко стонали герои, но Армин всех громче вопил. Вспоминал он о гибели сына, что умер во младости лет. Кармор сидел близ героя, князь шумливого Гальмала. К чему эти слезы и вздохи? – сказал он, – О чем тут рыдать? Не затем ли звенят песнопенья, чтоб смягчить и потешить нам души? Они точно легкий туман, что, поднявшись с озер, освежает долину и поит своей влагой раскрывшиеся цветы; но чуть воротится солнце – тотчас не стало тумана. Что ж предался ты скорбям, Армии, властитель опоясанной водами Гормы?

Скорбям предался? Так и есть! И не малость велит сокрушаться, Кармор, – сына ты не терял, не терял и дочь в цвете дней. Жив и Кольгар отважный и Аннира, прелестная дева. Ствол твой ветвями украшен, о Кармор, а ведь Армин последний в роду. Во тьме твоё ложе, Даура, бездыханен твой сон в могиле. – Когда же проснешься ты с песней и раздастся твой ласковый голос? Смелей, о ветер осенний, бушуй над темной долиной! Шумите, лесные потоки! Вой, буря, дубы сокрушая! Плывя меж разрывами туч, яви, луна, лик свой бледный. Напомните мне ту страшную ночь, когда мои дети погибли. Арин даль пал могучий, дорогой Дауры не стало.

Дочь, Даура, была ты красива, красива была как луна над холмами Фуры, бела как сыпучий снег, и ласкова, словно дыханье. Ариндаль, лук твой был туг, копье было метким в бою, был взор, как туман над волной, а щит был огненным облаком в бурю.

Армар, славный в боях, свататься к Дауре стал. Не долго она упиралась, и счастье друзья им сулили.

Эрат, Одгала сын, роптал, ибо Армаром был сражен его брат. Он пришел, обрядясь мореходом, красива была его ладья на волнах, а сам он сед, и спокойно его чело. Дивная дева, – сказал он, – Армина милая дочь, там на морской скале, неподалеку отсюда, где на деревьях алые блещут плоды, Армар

ждет Дауру; я переправить пришел его милую чрез бурное море.

Дочь пошла, она Армара громко звала, не ответил никто, одни только скалы. Армар, милый, любимый, зачем ты пугаешь меня? Слушай, сын Арнарта, слушай! Это я, Даура, тебя зову!

Эрат, предатель, смеясь на сушу бежал. А девушка стала кричать, отца и брата звала: Ариндаль! Армин! Ужель Дауру никто не спасет?

Ее крик долетел через море. Ариндаль, сын мой, спускался с холма, шел он с охоты с добычей, с луком в руках, и у пояса стрелы бряцали, и пять темносерых собак было при нем. Увидал он Эрата дерзкого на берегу, схватил, привязал его к дубу, туго стянув ему бедра, и ввергнутый в узы громко стонал,

Ариндаль плыл в своем челноке через волны, чтобы Дауру к дому доставить. Армар, охваченный яростью, спустил стрелу в оперении сером, она зазвенела и в сердце попала тебе, Ариндаль, сын мой! Вместо предателя Эрата ты погиб; к скалам погнало челнок, ты пал на скалы и умер. О, Даура, велика была твоя скорбь, у ног твоих кровь родного брата текла!

Волны разбили челнок, Армар кинулся в море, чтобы Дауру свою спасти иль самому сгинуть. С гор урагана порыв ринулся в море, пловец канул на дно и уже не вернулся.

Один на скале, опоясанной морем, стоял я и стоном дочерним внимал. Долго и громко кричала, но отец был не в силах спасти. Всю ночь стоял я у моря и видел ее в неверном сиянии луны, всю ночь слышал я крик, а ветер громко шумел и дождь хлестал по отрогам. Голос ее слабел, и прежде, чем утро настало, смолкла она, как ветер вечерний в траве на утесах. Умерла под грузом невзгод, оставив отца одного! Лишился я мощи в бою, ушла моя отрада меж дев.

Когда бури приходят с гор, когда северный ветер волны вздымает, я на шумном сию берегу и гляжу на страшный утес. И порой, когда тает луна, вижу, — духи моих детей, едва различимы, бродят вдвоем в печальном ладу".

Поток слез, хлынувший у Лотты из очей, и облегчивший ее стесненное сердце, прервал песнопение. Вертер бросил рукопись, схватил Лотту за руку и горько зарыдал. Другой рукой Лотта взяла платок и поднесла к глазам. Оба были донельзя взволнованы. Они ощущали в судьбах героев

собственное горе, ощущали его общим и слезы их сливались воедино. Губы и взоры Вертера обжигали Лотте руку, она вся тряслась, и хотела отстраниться, но от боли и сострадания все отяжелело, как от свинца. Она передохнула и, всхлипывая, попросила продолжить чтение, попросила голосом, звучащим словно бы с небес! Вертер затрепетал, сердце его раскалывалось, он поднял лист и уже едва живой прочел:

"Зачем ты будишь меня, весенний дух? Ты льнешь и лепечешь: Окроплю небесной росой! А ведь скоро время мне вянуть, в двух шагах уже буря, что листья мои оборвет. Завтра странник придет, придет знававший меня во всей красе, взор его станет меня искать, и не найдет нигде..."

Вся мощь этих слов свалилась на несчастного. В совершенном отчаянии он преклонил пред Лоттой колени, схватил ее за руки, прижимая их то к глазам, то ко лбу, и на мгновение душу ее пронзило предчувствие его страшного замысла. Разум ее помутился, она сжала ему руки, прижала их к своей груди, с щемящим состраданием к нему склонилась и их польхающие щеки соприкоснулись. Все мироздание для них исчезло. Он обхватил ее руками, притиснул к груди и стал страстно целовать дрожащие, лепечущие губы. "Вертер", – говорила она приглушенным голосом и отворачивалась, "Вертер", – и отталкивала слабыми руками его грудь от своей, "Вертер!" – говорила она спокойным тоном, полным собственного достоинства. Он не сопротивлялся, отпустил ее и, обезумев, упал перед ней. Она высвободилась и в ужасающем замешательстве, охватываемая то любовью, то гневом, произнесла: "Это последний раз, Вертер! Больше вы меня не увидите!" И глянув на несчастного взором полным любви, она поспешила в соседнюю комнату и заперлась. Вертер протянул ей вслед руки, но не решился ее удержать. Он лежал на полу, уткнувшись головой в диван, и так прошло около получаса, покауда его не привел в себя шум за стеной. То была служанка, пришедшая накрыть стол. Он ходил взад и вперед по комнате, а опять оставшись в одиночестве, подошел к дверям кабинета и тихо позвал: "Лотта, Лотта! *Одно* только слово!" Она молчала. Он ждал, и просил и ждал, потом сорвался с места и крикнул: "Прощай, Лотта! Навеки прощай!"

Он подошел к городским воротам. Стражи, уже к нему привыкшие, без единого слова его выпустили. Валил не то снег, не то дождь, но только часов в одиннадцать он

попросился обратно. Когда он пришел домой, слуга заметил, что у хозяина нет шляпы, но не решившись ничего сказать, раздел его. Все промокло насквозь. Шляпу потом нашли на обрыве над долиной; непостижимо, как можно было в темную, туманную ночь не свалиться, туда залезая.

Он лег в кровать и долго спал. На следующее утро слуга, которого он кликнул и велел принести кофе, войдя в комнату, увидал, что он пишет. Тогда он Лотте написал:

"В последний раз, в последний, выходит, раз, открыл глаза. Не положено им, увы, больше видеть солнце, грустный туманный день его заслонил. Горюй же, природа! Твой сын, твой друг, твой возлюбленный близится к концу. Лотта, это ощущение ни с чем не сравнимое и скорее всего такое может быть в каком-то странном сне – сказать себе: это твое последнее утро! Последнее! Лотта, я не могу понять, что значит – последнее. Разве сейчас я не полон сил, а завтра не растянусь на земле, чтобы спать? Умереть! Что это такое? Понимаешь, говоря о смерти, мы грезим. Я не раз видал как умирают, но человечество до того ограничено, что ничего не смыслит по части начала и конца своего бытия. Сейчас я еще свой, твой, твой, ненаглядная! А мгновение спустя – отторгнут, отрезан, – быть может, навеки? Нет, Лотта, нет... Разве могу я исчезнуть, разве можешь ты исчезнуть? Мы ведь *есть*! Исчезнуть! Что это значит? Опять пустое слово, звук пустой, на который сердце мое не отзывается. – Умер, Лотта, и в землю зарыл, в тесноту, в темноту. – Смолоду была у меня приятельница, для неумелого юноши она стала всем; она умерла. Я шел за гробом, стоял у могилы, когда его опускали, и отпустили веревки, и выдернули их, и упал первый ком, и глухо стукнуло о страшный ящик, и потом глуше, и еще глуше, и, наконец, завалили! Я кинулся наземь подле могилы, безутешный, потрясенный, испуганный, все нутро мое было разодрано, но я не знал, что произошло – и что произойдет... Смерть! Могила! Я этих слов не понимаю!

О, прости меня, прости меня! Вчерашний день! Тому мгновенью надлежало стать последним в моей жизни. О, ангел мой, в первый раз, в первый раз, ни в чем уже не сомневаясь, самые сокровенные тайники моей души преисполнились блаженным ощущением: она меня любит, она меня любит! У меня на губах еще полыхает тот священный пламень, который струился с твоих губ; новая жгучая радость вошла ко мне в душу. Прости меня! Прости меня!

Ах, знал ведь я, что ты меня любишь, знал по первому сердечному взгляду, по первому пожатию руки, и все же, когда уходил, когда рядом с тобой видел Альберта, опять падал духом, обуреваемый лихорадочными сомнениями.

Помнишь цветы, которые ты мне послала, когда не могла мне на этом отвратительном сборище ни слово сказать, ни руку протянуть? О, я полночи потом простоял пред ними на коленях, – они подтверждали, что ты любишь... Но увы, впечатления эти стирались, подобно тому как ослабевает понемногу ощущение милости господней в душе верующего, которому господь по-царски эту милость даровал явственным и торжественным знаменем.

Все преходяще, но никакой вечности не выкорчевать ту жаркую жизнь, которой я причастился вчера у тебя на губах и полон сейчас. Она меня любит! Эти руки ее обнимали, эти губы трепетали у нее на губах, и лепет этих уст лепился к ее устам. Она моя, ты моя, это так, Лотта, и навеки.

Что с того, что Альберт твой муж? Муж! В этом мире он муж – и для этого мира грех, что я тебя люблю, хочу вырвать из его объятий, и сам хочу тебя обнимать. Грех? Ладно, вот я за него и расплачиваюсь, я пригубил его, этот грех, во всей его несказанной благости и вобрал себе в сердце исцеление и силу. С этого мгновения ты моя, моя, о Лотта! Я иду первым! Иду к моему и твоему отцу. Пред ним стану я рыдать и он дарует мне утешение, покуда ты не придешь, и я не полечу тебе навстречу и не обниму тебя, и перед ликом вседержителя мы останемся в вечном объятии.

Я не грежу и не обманываюсь! У края могилы все понятней. Мы уцелеем, мы увидимся. Увидим твою мать! Я ее увижу, найду ее, ах, и всю душу ей выложу! Твоей матери, твоему подобию".

Часов в одиннадцать Вертер спросил у своего слуги, воротился ли Альберт? Слуга ответил утвердительно, – он видел, как вели его лошадь. Тогда хозяин дал ему записочку: "Не разрешите ли Вы мне в предполагаемой поездке воспользоваться Вашими пистолетами. Всего Вам доброго."

Любимая женщина плохо спала минувшую ночь; то, чего она опасалась, случилось, и случилось так, как она не могла ни предвидеть, ни опасаться. Обыкновенно столь хладнокровную ее лихорадило и все в ней бунтовало. Тысячи разнообразных чувств раздирали эту чистую душу. Ощущала ли она в груди

жар вертеровых объятий? Или досадовала на его смелость? Или огорчалась, сравнивая нынешнее свое положение с днями бесхитростной, вольной невинности и беззаботной веры в себя? Как она встретит мужа? Как расскажет ему об эпизоде, в котором ей ничего не стоит признаться и все-таки признаваться очень бы не хотелось? Они так долго избегали разговора друг с другом, – что же ей нарушать молчание первой и совершенно некстати преподносить супругу столь неожиданное признание? Она и того уже страшилась, что сама по себе весть о вертеровом визите произведет на него дурное впечатление, а тут еще неожиданный удар! Могла ли она рассчитывать, что муж увидит все это происшествие в истинном свете и воспримет без предубеждения? И вправе ли она желать, чтобы он читал в ее душе? И в то же время вправе ли она притворяться перед мужем, которому всегда представляла прозрачной, как хрусталь, и с которым всегда была естественна, никогда не скрывая и не умея скрыть от него свои чувства? И то и другое причиняло ей беспокойство и оставляло ощущение неловкости; и все время ее мысли возвращались к Вертеру, который для нее пропал, а она не могла его удержать и, – как ни горько, – должна была предоставить самому себе, притом, что у него без нее совсем ничего не оставалось.

Она не могла в эту минуту отдать себе отчет, сколь тяжел ей был возникший меж ними разлад! Столь разумные, столь порядочные люди из-за каких-то сокровенных расхождений перестают друг с другом говорить, каждый считает себя правым, а другого неправым, и отношения до того запутываются и обостряются, что узел не развязать даже в роковую минуту, когда решается все. Случись блаженной доверительности сблизить их сызнова, случись воскреснуть любви и взаимной терпимости между ними, случись их сердцам раскрыться, – друг наш, пожалуй, мог бы спастись.

К тому же еще одно особое обстоятельство. Вертер, как мы знаем из его писем, никогда не делал тайны из своего намерения покинуть сей мир. Альберт нередко с ним спорил, и между Лоттой и мужем тоже порой об этом заходила речь. Альберт испытывал к такому поступку крайнюю неприязнь, и подчас даже с какой-то обидчивостью, которая обычно вовсе не была в его характере, давал понять, что есть основания весьма сомневаться в серьезности такого намерения; он не раз позволял себе шутить по этому поводу и заразил своей недоверчивостью Лотту. Ее это, с одной стороны, даже успокаивало, когда такая картина приходила на ум, но, с

другой стороны, это как раз и мешало ей поделиться с мужем беспокойством, которое теперь ее терзало.

Альберт вернулся, и Лотта от смущения заторопилась ему навстречу; он был невесел, дело не сладилось, соседский управитель оказался угрюмым и педантичным человеком. Скверная дорога тоже раздосадовала.

Он спросил, не случилось ли чего, и она поспешно ответила: вчера вечером был Вертер. Он спросил нет ли писем, и ему было сказано, что письмо и пакеты лежат у него в комнате. Он пошел туда, и Лотта осталась одна. Присутствие мужа, которого она любила и уважала, повлияло на нее по-новому. Мысль о его великодушии, его любви и доброте ее успокоила, ей захотелось пойти за ним, она взяла работу и направилась, как обыкновенно, к нему в комнату. Его она застала за распечатыванием и чтением пакетов. Иные, казалось, ничего хорошего не содержали. Она задала несколько вопросов, он отвечал коротко, и встав за конторку, принялся писать.

Они провели так вместе около часа, и Лотта становилась все мрачней. Она чувствовала, как тяжело было бы ей открыть мужу, будь он даже в самом лучшем настроении, то, что у нее на сердце; ею овладело уныние, которое еще больше угнетало оттого, что она силилась его скрыть и глотала слезы.

Появление вертерова малого повергло ее в крайнее смущение; он подал Альберту записочку, и тот невозмутимо обернулся к жене и сказал: "Дай ему пистолеты!" – "Желаю ему счастливого пути" – сказал он парню. Это было как удар грома, она не стояла на ногах, не понимала, что с ней. Медленно дошла она до стены, дрожа сняла оружие, стерла с него пыль и замешкалась и долго бы еще медлила, если бы Альберт не подтолкнул ее вопросительным взглядом. Она дала парню злосчастные пистолеты, не в силах вымолвить хоть слово, и когда он ушел, убрала работу и пошла к себе в состоянии непередаваемой растерянности. Сердце предрекало ей всякие страхи. Она уже решилась броситься к мужу в ноги и открыть ему все, вчерашнюю вечернюю историю, свою вину и свои предчувствия. Но и это уже не казалось выходом: менее всего могла она надеяться уговорить мужа сходить к Вертеру. Накрыли стол и добрая знакомая, которая забежала только на минуточку, – чтобы что-то спросить и тут же уйти, – осталась и поддержала разговор за обедом; тут уж собираются с духом, разговаривают, рассказывают и забывают о себе.

Малый явился к Вертеру с пистолетами и тот, услышав, что дала их Лотта, пришел в восхищение. Он велел принести хлеба и вина, послал слугу поесть и принялся писать:

"Они побывали у тебя в руках, ты стирала с них пыль, и я опять и опять их целую; ты их касалась, ангел небесный, стали быть благословляешь мое решение; ты, Лотта, вручаешь мне оружие, я всегда мечтал принять смерть из твоих рук и – ах! – вот и принимаю. Я расспросил своего парня. Ты дрожала, отдавая их, ты и словечка не сказала на прощание! Увы, увы, ты и словечка не сказала на прощание! Ужели ты для меня замкнула сердце – и все из-за того мгновения, что привязало меня к тебе навеки? Лотта, столетиям не стереть его отпечатка, и чувствую ведь я, – не можешь ты ненавидеть того, кто только тобой и дышит“.

После обеда он велел слуге все упаковать окончательно, разорвал множество бумаг и вышел, чтобы расплатиться со всеми, кому был что-нибудь должен. Потом вернулся и опять, хоть уже моросило, вышел за ворота, направился в графский сад, побродил еще по округе и только вечером пришел домой и стал писать.

"Вильгельм, в последний раз поглядел я на поле, на лес и небеса! Простимся же и с тобой. Матушка, простите меня! Утешь ее, Вильгельм! Господь вас благослови! Свои дела я уладил. Прощайте. Мы свидимся и еще порадуемся“.

"Альберт, я отплатил тебе злом, но ты меня простишь. Я лишил твой дом покоя, из-за меня у вас пропало взаимное доверие. Прощай! С этим будет покончено. О, если бы от моей смерти вы стали счастливыми! Альберт! Альберт! сделай этого ангела счастливым! И Бог тебя на это благослови!"

Он долго еще рылся вечером в своих бумагах, многие разорвал и бросил в огонь, а несколько пакетов запечатал, обозначив на них адрес Вильгельма. Там были небольшие статьи, отрывочные записи, – некоторые я смотрел. В десять он подкинул в печь дров, велел принести бутылку вина и отослал спать слугу, комнатунка которого, как и спальни владельцев дома, выходила на двор; тот лег, не раздеваясь, чтобы утром быть наготове, поскольку Вертер сказал, что почтовые лошади будут к шести.

„После одиннадцати.

Все кругом стихло, и душа моя успокоилась. Благодарю тебя, боже, что даровал напоследок тепло и твердость.

Ненаглядная моя, я подхожу к окну и гляжу да гляжу сквозь пронсящиеся черные тучи на одинокие звезды в вечерних небесах. Нет, вы не падете! Вседержитель хранит вас в своем сердце, и меня тоже. Я вижу рукоять ковша Большой Медведицы, самого прекрасного созвездия. Когда, возвращаясь от тебя, я выходил вечером из ворот, оно стояло напротив. Как я порой упивался, глядя на него. Я простирал к нему руки, считая его знаменем, священным рубежом охватывающего меня блаженства, и еще... О, Лотта, сыщется разве что-нибудь, что не напоминало бы о тебе, в чем ты не была бы со мной, и разве я, как ненасытное дитя, не цепляюсь за всякую мелочь, которой касалась ты, праведница моя!

Милый силуэт! Оставляю его тебе, Лотта, и прошу его чтить. Тысячи, тысячи поцелуев запечатлел я на нем, тысячи раз ему кланялся, уходя из дому и возвращаясь.

Я написал твоему отцу и просил меня похоронить. На кладбище в заднем углу, около поля, есть две липы. Там я хочу лежать. Он может это устроить и для друга устроит. Ты тоже его попроси. Не требую от богомольных христиан, чтобы они лежали рядом с несчастным мучеником. Ах, зарыли бы меня у дороги или в укромной долине, чтобы узрев надгробный камень, священник и левит, благословясь, проходили мимо, а самарянин заплакал.

Вот и все, Лотта! Бестрепетно беру я холодную, страшную чашу, из которой надлежит мне испить упоение смертью! Ты мне ее протянула, и я не раздумываю. До дна! До дна! Так свершились стремления и надежды моей жизни! Холодный и непреклонный я стучусь в железные ворота смерти.

Вот досталось бы мне счастье отдать жизнь за *тебя*, Лотта, пожертвовать собой ради *тебя*! Я бы отважно, я бы с восторгом умер, если бы это тебе возвратило покой и радость жизни. Увы, лишь немногим достойным выпадает пролить кровь за своих и собственной смертью сто крат ярче распалить новую жизнь своих друзей.

Лотта, прошу хоронить меня в этом костюме, ты касалась его и этим освятила. Я и отца твоего об этом просил. Душа моя

воспаряет над гробом. Не надо шарить у меня в карманах. Розовую ленту, которая была у тебя на груди, когда я впервые увидел тебя среди твоих детей... О, перецелуй их всех и расскажи им судьбу их невезучего друга. Славные! Они копошатся вокруг меня. Как все же меня к тебе приворотило, с первой минуты отстать не мог!... Ленту эту пусть похоронят со мной. Ты ее мне поднесла ко дню рождения! Как я все это в себя вбирал! Ах, не думал я, что дорога приведет к такому! Не беспокойся, умоляю тебя, не беспокойся!..

Они заряжены... Бьет двенадцать! Так пускай же всершится! – Лотта! Лотта, прощай! Прощай!"

Какой-то сосед заметил, что сверкнул порох и услышал выстрел, но по-прежнему было тихо, и он не придал этому значения.

В шесть утра входит слуга со свечой. Он находит хозяина на полу, видит пистолет и кровь. Слуга его кличет, потом тормошит – никакого ответа, только хрип. Слуга бежит за врачом, за Альбертом. Лотта слышит, что звонят и вся уже трясется. Она будит мужа, они встают; плача и запинаясь, слуга излагает новость, Лотта в беспамятстве опускается к ногам Альберта.

Врач, придя к несчастному, застал его на полу, однако спасения не было, пульс бился, но тело сковал паралич. Он выстрелил в голову над правым глазом, наружу прыснул мозг. Ему открыли вену на руке, потекла кровь, он еще дышал.

Кровь была на спинке кресла, и можно заключить, что в момент выстрела он сидел за письменным столом, потом съехал вниз и в конвульсиях катался по полу. Он лежал, обессилив, на спине против окна в полном облачении, на нем был синий фрак, желтый жилет и сапоги.

И дом, и соседей и весь город охватило смятение. Пришел Альберт. Вертера уложили на кровать, завязали лоб, лицо уже было как у покойника, он не двигался. Легкие еще испускали страшные хрипы, то слабей, то сильней. Ждали конца.

Вина была выпита одна рюмка. "Эмилия Галотти" лежала на бюро раскрытой.

Да позволено мне будет не говорить о замешательстве Альберта и горе Лотты.

Верхом прискакал старик управитель и, обливаясь горячими слезами, поцеловал умирающего. Вскоре пешком пришли его старшие сыновья, в неизбывной печали пали у постели, целовали ему руки и уста, а самый старший, которого

он любил больше остальных, все прикивал ухом к его губам, покуда тот не отошел и мальчика не оторвали насильно. В двенадцать пополудни он умер. Присутствие управителя и его распоряжения утихомирили толпу. Он велел хоронить около одиннадцати вечера в том месте, которое выбрал покойный. За гробом шел старик с сыновьями. Альберт пойти не сумел. Боялись за жизнь Лотты. Несли гроб ремесленники. священника не было.

Вильгельм фон Левенштайн –Вертхайм
1780-1847

Эти песни и моления
Будут жить один лишь миг,
И следа, спустя мгновенье,
Не останется от них.

Сколь больших певцов не стало,
А не помнят их имен.
Чем же слава нас пленяла
И манила испокон?

Вызвал к жизни песни эти
Сердца бедного порыв.
Пусть одной душе на свете
Будет внятен их призыв.

Пусть замрет их звук бессильный,
Если лира упадет,
И меня в приют могильный
Ангел смерти уведет.

Йозеф фон Эйхендорф 1788-1857**ПЕСНИ СТРАННИКА****Новое плавание**

Голубыми стали дали,
Начинается весна.
Вот и взоры засияли,
И в лесу труба слышна,
И всеобщее смятенье,
Как река, бежит с высот,
И тебя ее течение
В лучезарный мир влечет.

Разве с ветром совладаю,
Что из дома гонит вон?
По реке я уплываю,
Светом счастья ослеплен.
Пышет пламенем Аврора,
Вешний дух колышет грудь,
И не ведаю, как скоро
Завершится этот путь.

Всеобщее странствие

С земли до небосвода,
Куда ни кинешь взор,
Воскресшая природа
Выходит на простор,

И горные речонки,
Каких шумнее нет,
И жаворонок звонкий,
И радостный поэт.

Он тех, кто дни в долине
Влачит среди забот,
Бродить по свету ныне
С собою уведет.

И с гор летит в долину
 Напев его простой –
 Попавшим на чужбину
 Велит идти домой.

Навстречу счастьем снова
 Идет весь белый свет,
 Любимая готова
 Пойти за милым вслед.

И над травой зеленой,
 Поверх скалистых гор,
 Дух вольный и смятённый
 Выходит на простор.

Сумерки

Темень крылья распластала,
 Деревя пришли в движенье,
 Тучи точно сновиденье, –
 Что бы это означало?

Не давал бы стройной лани
 Ты пастись в такую пору,
 Ведь охотник, идя в гору,
 В рог не зря трубит в тумане.

Верить другу и не пробуй
 Ты в подобную минуту,
 Он, приветливый как-будто,
 Так и пышет лютой злобой.

Если что исчезнет к ночи,
 Утром быть ему обратно,
 Но иное не возвратно –
 Не смыкай же нынче очи!

Ночью

В тиши бродил я дотемна,
 Прокралась на небо луна
 Из-за туманного покровца,
 На миг среди ветвей,

Проснулся соловей,
И все кругом затихло снова.

Тот голос в воздухе ночном,
Что в темноте косым дождем
Идет из-за деревьев спящих,
Лишь путает мой стих,
И в песнях он моих
Как отзвук грез, меня томящих.

Странствующий музыкант

I

Я бродяга был сызмальства,
Так живу и так умру, —
То есть, как я ни старайся,
Мне покой не по нутру,

Знаю песенку немало,
И в ненастье, без сапог,
Чуть струну задень, бывало,
Где придется петь я мог.

А пригожие девицы
На меня глядят тайком,
И непроч в меня влюбиться,
Не родись я бедняком.

Дай же бог моей невесте
Мужа доброго в удел!
Если бы мы с ней были вместе,
Никогда бы я не пел.

2

Встало б солнышко над нами,
Как в полуденном краю,
И пошел бы я лугами,
Мандолину взяв свою.

Темной ночью, чтобы милой
Сладко спать спокойным сном,

Я, не проронив бы слова,
Замер под ее окном.

Встало б солнышко над нами,
Как в полуденном краю,
И пошел бы я лугами,
Мандолину взяв свою.

3

Припади к моей груди,
Коль на сердце грустно стало,
Душу мне разбереди,
Обманув меня сначала.
Как влюбленный дуралей,
Твоему покорный взору,
Внемлю песенке твоей.
А снаружи в эту пору
Пес рычит, мяучит кот
И сосед опять бранится...
То-то за душу берет
Эта старая скрипица.

4

На скамеечках, зевая,
Примостился мрачный люд,
Тут раздолье для лентяя
И для спорщика приют.

Я обычно в этих селах
Появляюсь ввечеру
И от мыслей невеселых
В руки скрипочку беру.

И в то самое мгновенье,
Как раздастся первый звук,
Невзначай придут в движенье
Все стоящие вокруг.

И пока поет скрипица,
Верят вальсу одному.

Я играю, все кружится,
Знать не зная почему.

Каждый счастлив подаянье
Дать в награду за талант,
Тут кончаются страданья
И уходит музыкант.

Видят все: дая улыбки,
По горам скрипач идет,
Но уже не слышно скрипки,
И домой спешит народ.

Только мне в лесном приделе
Успокоиться невмочь,
Ведь свои выводят трели
Соловьи теперь всю ночь.

Тихо шепчет мгла ночная
Про тоску души моей.
И сажу я, все гадая,
Что бы спеть мне для людей.

В предместье

Двум музыкантам молодым
Случилось в путь пуститься.
Один любовью был томим,
Другой был рад влюбиться.

И оба стынут на ветру,
Касаясь струн смычками,
Авось улыбка поутру
Мелькнет в оконной раме.

В окно лесной несется гам,
И шум листвы, и пенье.
И тут певец вступает сам
В блаженное кружение.

Влюбленный странник

I

От дома к другому дому
 Бреду, погружаясь во мрак,
 Опять все идет к худому, —
 Не сладить с этим никак.

Смотрю, счастливые лица
 У жителей городов,
 Они спешат веселиться,
 А я так спянуть готов.

Нередко я вижу летом,
 Что в пламени небосклон,
 Что ярким солнечным светом
 Притихший дол озарен.

Но даже среди веселья
 Слезу удержать нет сил —
 Ведь так далеко отселе
 Все те, кто меня любил.

2

Песня, что в слезах слагалась.
 Полети в родимый край.
 Там, где милая осталась,
 Непременно побывай.

Коль она там веселится,
 Жребий мой, скажи, суров,
 Коль ночами ей не спится,
 Говори, чт о я здоров.

А когда любовь пропала, —
 Нет ни счастья, ни обид.
 Кто жалел меня, бывало,
 Пусть узнает — я убит!

Родная, с тобой я расстался,
Не скоро увижусь опять,
А в людях довольно коварства,
Чтоб злобой тебя донимать.

Вонзать им понравилось жала
Туда, где добра через край.
Ах, если любви бы не стало,
То пропадом все пропадай!

Места, где с тобой мы гуляли
В чудесном зеленом лесу,
Пустыми и мертвыми стали,
Былую утратив красу.

Мы нынче тому уже рады,
Что хладная светится высь
И звезд золотых мириады
Над снежной равниной заглясь,

Душе и тоскливо и больно,
Людей не увидишь нигде,
И, лютни касаясь неволью,
Пою я о тяжкой беде.

Напрасно ищу я спасенья
От ветра и горьких обид,
Но верь и не ведай сомненья:
Любовь и в беде устоит!

Где луг зеленый
Свод голубой?
Я там, смущенный,
Сидел с тобой.

То жаворонок
Иль соловей
Опять так звонок
Среди ветвей?

Один внимаю,
Как мир запел,
Но верить маю –
Не мой удел.

5

Облака, что над домами
К лесу медленно пошли,
Мне бы надо вместе с вами
Полететь на край земли.

По лесам я все скитаюсь,
Позабыв себя совсем,
Ненароком струн касаюсь
И опять бываю нем.

Стародавние преданья
Мне теперь идут на ум,
И слагаю ликованья,
Хоть и вовсе я угрюм.

Было много их напето
Мной в былые времена,
И любовью мне за это
Было воздано сполна.

Что же робость обуяла,
Что волнуюсь я опять?
А, казалось бы, пропало
То, что мне велит писать.

Пробудились нынче птицы,
Потянулись облака,
И земля кругом лучится,
И душиста, и жарка.

Хлынет дождь и, смотришь, сразу
Светит солнышко с небес.
Предстает твой домик глазу,
Чуть минуешь тихий лес.

Но отныне ждать в надежде
Ты не будешь никого,
А меня казнит, как прежде,
Этой боли волшебство.

В замке

Задремал однажды рыцарь
Горный замок охраняя,
С той поры то дождь струится,
То шумит листва лесная,

Виснут волосы, как плети,
Стан и грудь окаменели, —
Уж которое столетье
Дремлет он в своем приделе.

Все молчит гора пустая,
Мир в долине занят делом.
Только свищет птичья стая
На оконце опустелом.

И по тихим рейнским водам
Свадьба шумно выплывает.
Скрипачи играют бодро,
А невеста, знай, рыдает.

Ярмарка

Где я ныне, сам не знаю,
Улиц я не узнаю.
А не этому ль я краю
Поручил любовь мою?

Нежно юные красотки
На меня в окно глядят.
Но сыщу ли взгляд столь кроткий,
Как моей любимой взгляд?

Весь дрожа, стучусь к невесте, —
Пусто темное окно.
Да она же в этом месте
Не живет уже давно!

А кругом толпы жужжанье,
 Каждый хвалит свой товар,
 И выходит на гулянье
 Множество нарядных пар.

Церемонные склоненья,
 Незаметные кивки, —
 Все вбирается в течение
 Шумной праздничной реки.

Мне на том гулянье чинном
 Встреча с милой суждена,
 С гордым стройным господином
 Вышла под руку она.

И сама едва живая, —
 Сжатый рот, потухший взор, —
 Долго, глаз не отрывая,
 На меня глядит в упор.

Ветер буйствует, и в поле
 Дню веселому конец.
 Мир не ведает о боли
 Двух разорванных сердец.

Прощание

Леса, поля и дали
 Сияющих вершин
 Где был моей печали
 И радости притин!
 Пускай до лжи зловонной
 Мир падок деловой,
 А мне б шатер зеленый
 Узреть над головой!

Едва лишь озарится
 Земля весенним днем,
 Как выболтает птица
 Что в сердце есть твоём:
 Пусть сгинула, пропала
 Земная бы беда,

И вновь душа бы стала
Светла и молода.

В лесу однажды слово
Я вывел на стволе,
Полно всего святого,
Что ведомо земле.
Читал его пристрастно
Опять я и опять,
И в сердце было ясно,
Как мне и не сказать.

С тобой проститься ныне
Настала мне пора.
Жестока на чужбине
Житейская игра.
Но дух мой с прежней силой
Твоя поддержит власть,
Чтоб старости унылой
Душа не поддалась.

Прекрасная чужбина

Чуть слышно шуршит в тревоге
Клонящий вершины бор,
Как будто древние боги
Идут сегодня в дозор.

Есть некая тайная сила
За миртами в дреме ночной.
О чем ты заговорила,
Безумная ночь, со мной?

И звезды во мгле засверкали,
Ко мне обраща взгляд.
И одурманены дали,
Словно о счастье твердят.

Любовь на чужбине

1

Люблю бродить в ночной прохладе
И невзначай задеть струну,
С нагорья умиленно глядя
На задремавшую страну.

Все изменилось – здесь, в долине,
Гулял я, были времена,
Но приутихла роща ныне
И бродит по небу луна.

Уже не слышно винодела,
Умолкнул жизни пестрый ход,
Лишь по ночной земле несмело
Ручей серебряный течет,

Да соловей свои рыдания
Возобновить еще готов,
И возбудит воспоминанья
Невнятный шепот меж стволов.

Не кануть радости в забвенье,
И от былых счастливых дней
Звенит таинственное пенье
Во глубине души моей.

И я порой берусь за струны
И тронуть пробую сердца,
Чтобы донесся к деве юной
Привет далекого певца.

2

Над утесами сквозь дрему
Радость хлынула ликуя,
Дерева одно к другому
Клонятся для поцелуя.

И чудесно пробужденье
Ночь пронзивших голосов!

Чтобы слушать это пенье,
Я совсем не спать готов.

Только бы не разболтали
Ручейки рассветной ранью,
Что и счастье и печали
Нес я лунному сиянью.

Дорожное изречение

Вечно волны бьют о берег!
Хоть и помнишь о потерях
И обманут был не раз,
Все равно, удар прибоем
Новой жизнью за собою,
Словно счастье, манит нас.

Странствующий поэт

Понять я этого не мог!
Едва ступаю за порог –
И жаворонок вдруг исчез,
Ликуя, в синеве небес.

Надела ради торжества
Все жемчуга свои трава,
И тополя, конечно, тут
Поклоны чинно отдают.

Вот, как посол, спешит ручей,
Поляна, прячась меж ветвей,
Как будто милая моя,
Глядит, улыбку затая.

Иду я спать, а у ворот
Мне песню соловей поет
И озаряют светляки
В лесу глухие уголки.

И так бывает всякий раз, –
Поэту не уйти от глаз, –
От века ведомо весне,
Кто царствует в ее стране.

Тоска по родине

Кто хочет уйти из дому,
Пусть вместе с милой идет,
Дарить участие чужому
Не станет здешний народ.

Деревья помнят едва ли
Про прежние времена.
В какой непомерной дали
Лежит родная страна!

Вот разве на звезды гляну, —
Их свет вел к милой моей.
Соловушку слушать стану, —
Он пел у ее дверей!

Я знаю радость едину,
Едва забрезжит рассвет,
В горах взойду на вершину
И шлю отчизне привет.

Последнее возвращение

Морозной утренней порой
Спешит продрогший странник.
Он возвращается домой,
Намучившись в скитаньях.
Теперь идут они к концу,
И он стучится в дом к отцу.

Но на пороге перед ним
Не те, кто сердцу милы.
Он людям кажется чужим,
Пришельцем из могилы,
И, ощущая боль и стыд,
Он в поле чистое бежит.

Присесть под деревом он рад,
Но не щебечут птицы.
Завален снегом старый сад,
Иль, может, это снится?

И, колокольный слыша звон,
Колени преклоняет он.

Когда же, помолясь, встает,
Куда идти не зная,
То юноша его зовет,
С ним рядом возникая:
«Пойдем, приют тебе готов!»
И он идет на кроткий зов.

Под облака ведет их путь
По кручам и ложбинам.
Им видно, если вниз взглянуть,
В безмолвии пустынном
Царит безжизненный покой.
А тут – до звезд подать рукой.

Вожатый факел достает
И свет дарует взорам.
Теперь полночный небосвод
Им кажется собором,
Его возвел незримый труд.
И страхи странника гнетут.

Он молвит: «Это не ветра ль
Доносят голос дальний?
Плывет набат, я слышу, вдаль
И звон ручья хрустальный», –
«То наверху сквозь ночь и мглу
Возносят господу хвалу».

Но странник снова: «Я без сил.
Далеко ль до рассвета?
Что там за блеск я различил?»
А друг ему на это:
«Теперь засни последним сном.
Когда проснешься – будет дом».

ЖИЗНЬ ПЕВЦА

Отзвуки

1

Птицы, в солнечную пору
Вы совсем меня пленили.
Я бы рад, расправив крылья,
Взмыть к небесному простору.

Вешним днем и в самом деле
Вы недаром пели сами:
«То цвета ли зазвенели,
Звуки ль сделались крылами?»

Слажу ль с робостью моею?
Вольный ветер треплет парус.
Я в далекий путь пускаюсь.
Ах, куда? Спросить не смею.

2

Это что еще за сила,
Из глуши придя лесной,
Сердце разом захватила
И похитила покой?

То ли песня долетала,
То ли в путь звала труба,
Только в сердце трепетала
Бессловесная мольба.

Вот сыскать спасенье мне бы
В дикой чаще где-нибудь,
И душа рвалась бы к небу,
И вольней дышала грудь!

И меня тоской сердечной
Не томил бы звонкий хор, —
Я простился бы навечно
И ушел в зеленый бор.

Два товарища

Пошли как-то из дому двое
 Отважных, славных парней,
 Их небо влекло голубое,
 Пели им волны прибое
 О радости вешних дней.

К высокой шли они цели
 И, кроме веселья и бед,
 Правду узнать хотели;
 И люди на них глядели
 И улыбались им вслед.

Первый из них женился,
 Взял участок и дом,
 Скоро сынок родился,
 Младенцу он умилился
 И счастливо жил потом.

Второго, полные ласки
 Голоса манили вдали,
 И песни сирен, и краски,
 И звоны, и всплески, и пляски
 И волны в бездну влекли.

Когда отпустила бездна,
 Была голова седа.
 Кораблик сгинул безвестно,
 Даль была бессловесна
 И холодна вода.

А волны поют мне снова
 О счастье благой весны;
 Увижу парня лихого –
 И слеза скатиться готова.
 Да будем же мы спасены!

И это стихи?

(По случаю проигрыша пари)

Полон дел, охвачен злостью,
 Я в свободе надобнОстью

Долгу жертвую вполне,
 И в присутственном-то месте
 Музы, хоть полны горести,
 А в лицо смеются мне.

Были дни – сияя ало,
 Сердце мне заря трогала,
 Безмятежный теша взгляд.
 Я конца не знаю стонам,
 Но, увы, в краю выжженном
 Не видать пути назад.

За чужие прячась спины,
 Я в симфониях родины
 Обездоленный стою,
 Внемя звукам вдохновенным,
 Различу ли я в собственном
 Сердце музыку свою?

Пусть же стих вам подающий
 Не услышит, страдающий,
 Слишком строгий приговор,
 И сочтите вы при этом
 Смелость рифм – души трепетом
 И стихами – этот вздор!

Поэт

1

За гранью, у потока золотого,
 Чудесная страна тебе открылась,
 И пенье, что оттуда доносилось,
 Высокое в себе таило слово.

По золотому мосту из бывшего
 Толпа твоих товарищей явилась,
 И звонкая весна, даруя милость,
 Далёко ввысь тебя нести готова.

Все отступает – и труды и беды,
 И, вниз не глядя, воспаряешь смело
 Во исполненье братского обета:

Кого святое пение задело,
 Весь век по музыке светил томится
 И дивной дали, что во мгле таится.

2

Тому, кто пригубил воды студеной,
 Забыть ли ключ, где жажда отпустила, —
 Ведь в нем самом отныне забурлила
 Волна, буравящая мир исконный.

Он тихо рос, к мечтательности склонный,
 А выростала в нем святая сила,
 Она его — то к свету выносила,
 То прятала от глаз в ночи бессонной.

И нет вовек преграды нетерпению!
 Поэт, в златом челне парящий ныне,
 Себя приносит в жертву пенопению,

И рушатся столетние твердыни,
 И раздается песня на просторе
 И вновь зовет сокрыться в вечном море.

3

Не по пустому бреду сумасброда
 Среди толпы мы различим поэта, —
 То, что им было с муками пропето,
 Есть подлинная жизнь его народа.

И как бы с ним ни обходилась мода,
 Своим порывом грудь его согрета,
 И пробужденье в наших душах света —
 Ответ на вдохновение рапсода.

Он сердцем с теми, кто его вскормили,
 Привязан к матери и к вышней силе,
 Которой обозначен был впервые.

Но и толпа, которая сначала
 О праве петь упорно вопрошала,
 Ему теперь подвластна, как стихии.

Грусть

1

Мне петь порой случится,
 Как будто веселюсь,
 А все слеза струится,
 Влача из сердца грусть.

Так с соловьем бывает:
 Весной обычно он
 О воле распевает,
 Хоть в клетке заточен.

И сладко льются звуки,
 И внемлют им сердца,
 Не ведая о муке,
 Терзающей певца.

2

Сердце, что с тобой такое,
 Ищешь радости какой?
 Для других – залог покоя,
 Ты забыла про покой.

«Ах, да в том-то все и дело:
 Сея мир в чужих сердцах,
 Я затем лишь бодро пело,
 Чтобы свой осилить страх.

Я желанием томимо
 Вышней радостидохнуть,
 Но она недостижима --
 Отчего же ходит грудь?»

Когда-то на свете жили
Два графа молодых,
И оба так любили,
Что сон пропал у них.

Но ты, моя дорогая,
Не верь им никогда,
Идут они, не зная,
Откуда, зачем, куда.

Летит по луговине
От нашей песни звон,
И кто нам внемлет ныне,
Навеки уязвлен.

Нигде мы в этом мире
Пристанища не найдем,
Куда нас ни забросит,
Манит родимый дом.

Но наших дней течение
Во всю несетса прыть,
Чтоб силой песнопенья
Глаза тебе открыть.

В них пыл наш неумный,
Любовь, беда и стыд,
Туда весь мир огромный
Как в зеркало глядит.

Когда в твой сон безмолвный
Рассветный входит шум,
Влекут шальные волны,
Затем, что мир угрюм.

А станешь ты стараться
Спасти страну чудес,
Дух вольности и братства,
Глядишь, уже исчез.

Здесь нет ему приюта –
 Напрасно звать: постой!
 В морских волнах как будто
 Пропал твой сон золотой.

Память

В моей душе хранится
 Портрет чудесный твой,
 Он радостью лучится
 И свет струит живой.

И сердце запекает,
 И песня давних лет
 Вдруг в небо улетает
 И твой находит след.

Оставь печаль

Не скорби, душа, не сетуй,
 Что былых уж нет утех
 И отрады в жизни этой
 Взор не видит, как на грех.

А весна и ликованье
 Неужели позади,
 И знакомые желанья
 Даром теплятся в груди?

И парит ли в небе птица
 Или челн бежит меж вод,
 Тяжесть на душу ложится
 И отчаянье растет.

Вновь не ведать мне ужели,
 Как земля меняет вид
 И у дикого ущелья
 Рог охотничий трубит?

И любви уж не по силам
 Неужели будет впредь
 Над раскинувшимся миром
 Вновь шатер свой простереть?

Позабудь свои напасти,
Пусть светлее станет взор!
Ты узнаешь больше счастья,
Чем видал до этих пор.

Верность

Пусть все птицы среди лета
Замолкают каждый год, Все
равно высоко где-то
Жаворонок запоет.

Пусть деревья погрустнели
И поблекнул их наряд,
Все равно не гнутся ели
И зеленые стоят.

Это верность крепче стала.
Мир дряхлеет в наши дни,
Так начни весну сначала
И как чудо зазвени!

Призыв

С утра трубит дуброва:
Весна сегодня снова
Поверх долин и гор
Раскинула шатер.

Прознав об этом чуде,
Из дома вышли люди
И сердцем поднялись
За жаворонком ввысь.

Зачем же у потока
Стоишь ты одиноко
И не спешишь скорей
К возлюбленной своей?

«Ах, звоны полевые
Я слышу не впервые,
Но ликованье дня
Лишь мучает меня.

Ведь снова я и снова
 Отыскиваю слово
 И где его сыскать
 Не ведаю опять».

Бедняга, без сомнений
 Беги к волне весенней
 И всей душой узнай,
 Где настоящий рай.

А и того коль мало,
 Брести тебе устало
 Бог весть еще куда –
 До Страшного суда.

Добрый совет

Если цель канатоходца
 В том, чтоб зритель был пленен,
 Он заведомо сорвется,
 Как бы ловок ни был он.

Коль угодно рулевому
 Доверять любой волне
 И по ветру плыть любому, –
 Значит, быть ему на дне.

Но по звездам разумея,
 Где поэзии страна,
 Ты ступай туда скорее
 И не мудрствуй допоздна.

Поворот

Песни -- в жизни не опора,
 А поэт и гол и бос,
 И с красавицами скоро
 Распрощаться мне пришлось.

Стал ходить от края к краю –
 Где-то ж надо быть добру! –
 Но, куда ни попадаю,
 Прихожусь не ко двору.

Хоть спешу я постоянно,
Не успеть мне на обед,
Из чужого пью стакана
И бог весть за кем вослед.

Я фортуна чтит едину
С незапамятных времен,
А она мне кажется спину,
Чуть отвешу ей поклон.

Но едва лишь мне случилось
Полным сил восстать с земли,
Вижу – все переменялось,
Даже щепки зацвели.

Если в мире правды мало,
Можно босым выйти в путь,
Лишь в пути бы засияла
Вновь заря когда-нибудь!

Русый рыцарь

Русый рыцарь, русый рыцарь,
Нынче скорбь тебя объяла,
Под очками взор искрится –
Это нынче род забрала.

И совсем не меч из ножен,
А перо рука схватила:
Ты разгневан, растревожен,
Но течет не кровь – чернила.

Вы достоинства лишитесь
Ради лишней фразы броской!
Буйный витязь, буйный витязь,
Ты не делай землю плоской!

Вдохновение

Не жду ни лавров, ни похвал!
Едва повеял вешний дух,

Ворчун

По ночам читать бумажки,
 О политике болтать,
 Словом, быть, как бык в упряжке, —
 Мне бы разве не подстать?

Только рвань-то ведь отныне
 Счесть не рванью, как всегда,
 А принять за род святыни —
 Не сумею, вот беда.

Но внушать родному краю,
 Будто росчерком пера
 Я вселенную спасаю, —
 Недостойная игра.

И поскольку этой швали
 Я являл живой укор,
 На меня глядеть не стали
 И живут, как до сих пор.

Верность

Воспрянь душа! Как ни томят печали,
 Мой разум трезвым холодом объят!
 Луга, и пашни, и лесные дали
 По-прежнему пленительно звенят.
 И если б волны зло мне причиняли,
 Я петь, как прежде, все же был бы рад.
 Сияет мирно небо голубое,
 И затихает в море гул прибора.

«К чему пускать вам шутовские трели?
 Пора воспеть благие времена!»
 И все свои расхваливают цели,
 Везде и всюду похвальба слышна.
 Но в тихих песнях, что со мной вы пели,
 Лишь вечная тоска воплощена, —
 И то, свою я вижу неумелость, —
 Ведь все не так выходит, как хотелось.

Нам хочется смягчить свое томленье,
 И вот о дальней родине своей
 Мечтает узник в долгом заточенье,
 Следя за блеском солнечных лучей,
 Волнующих его воображенье
 Тем, что порой становятся пестрей.
 Но тот, кто сердцем устремлен к отчизне,
 Постигнет в беге дней теченье жизни.

Так разрастайся, песенное древо,
 И в жилах кровь веселую гони.
 Своей листвою и сладостью напева
 Мой бедный ум чудесно осени.
 А ты, добро предвечного посева,
 Что снилось мне в прекраснейшие дни,
 Придай хотя бы бодрости немного,
 Чтоб в сторону не увела дорога.

Судьба поэта

Для всех огнем пылаю,
 Покуда сердце есть,
 За каждого страдаю,
 Для всех мне надо цвествь,
 Когда ж пора плодов настанет,
 Меня, как водится, не станет.

Сомнение

Замутился неужели
 Негасимый этот свет,
 Что в любом таился деле,
 Как за тучами рассвет,
 И цветам, что здесь пестрели,
 Разве места больше нет?

Тучи выплыли златые,
 Страхи ночи позади,
 Слушай шорохи лесные
 И добра на завтра жди.
 Ах, не все мечты пустые
 Просыпаются в груди!

Иногда толпы круженье
Обнажает жизни ход,
Или ласковое пенье
В чистом золоте плывет,
И в молчанье на мгновенье
Смысл былого предстает.

Кабы знал, что жизнь пропала,
На другой ступил бы путь,
Но судьба, что нас избрала,
Не напрасно точит грудь:
Помни, что тебя терзало,
Но и счастья не забудь!

Летний зной

Взираю долу, по горам шагая,
Гляжу на горы, лежа на лугу,
Находит меланхолия слепая,
Досаду одолеть я не могу.
Нет, не способна ненависть людская
Хоть крохи правды породить в мозгу,
И, ах, как медленно плетутся слоги,
А рифмы до чего уже убоги!

Пора навеки с рифмами проститься!
Жизнь, сообщи движение судьбе.
С твоим прибором я готов сразиться,
Вздымаясь ввысь и падая в борьбе.
В полете крылья расправляет птица!
Дай человека ощутить в себе!
Чем жить, весь век тоскливо умирая,
Уж лучше бы взяла земля сырая!

Эльдорадо

Полна благоуханья
Чудесная страна,
Где первые желанья
Сбываются сполна.

Вот занесли нас ноги
На самый край земли,

А к родине дороги
Бурьяном поросли.

Но чуть из вод восстала
Она в счастливом сне,
Листва затрепетала
В рассветной тишине.

Я слышу зов чудесный
И следую за ним,
На край скалы отвесной
Стремительно гоним.

Душа вдохнула счастья,
Напастей больше нет,
Как будто бы напасти
Рассеять мог рассвет.

И я стою высоко
У бездны на краю
И, как мне одиноко,
Внезапно узнаю.

Бегу, чуть день займется,
К пылающим цветам,
Пока не доведется
Навек остаться там.

Рань

Восток в туманной пелене,
И ей не видно края,
Земля забылась в сладком сне,
Знать ничего не зная.

Но в замирающий простор
Взмыл жаворонок шалый,
Узрев сквозь сон, что выси гор
Каймой одеты алой.

На прощание

Деревья качает ветер.
Бегом все бежит на свете.
Ребенка надо в тепло!
Воротится лето с юга –
И мы обретем друг друга.
Кто любит, тем тяжело.

О, нет тяжелее муки –
Любить друг друга в разлуке,
И мне страшна тишина!
Еще я вижу косынку
И, тайно смахнув слезинку,
Теперь гляжу из окна.

По улице в час рассвета
Неспешно катит карета,
Но, стоит кнутом взмахнуть,
Летит, ворота минуя,
И прячется в глушь лесную,
Дочурка, счастливый путь!

Напрасная досада

Я предаюсь раздумьям в старом доме,
Вернее в том, что домом называлось:
Сова ночная на окно взобралась
Да ветер с ливнем возьмется в соломе.

И горько думать, что в пустом проеме
Усердно повилика разрасталась,
И там, где милая навек осталась,
Встал строй берез в притворно-грустной дреме.

Сам, как сова, сижу я на вершине
И озираю юности обломки,
Перебирая все, что наболело.

Но вот уже заря встает в долине
И входит свет в дремавшие потемки,
И утром до совы уже нет дела.

Негодование

Есть в мире край, где царствуют мещане
И от торговых дел трава пылится.
О, как ты можешь, господи, мириться
С тем, чтоб любовь пеклась о чистогане!

Есть лес зеленый, где в ночном тумане
Спят вольные орлы, где голубица
Воркует нежно, — там я поселиться
Хотел бы на нехоженой поляне.

Подстерегу я лавочников свору
И дам прекрасной деве избавленья,
Коль ей велят быть девкой непотребной.

Пусть над руинами, взойдя на гору,
Стоит она, и в каждом дуновенье
Дурманит нас напев ее волшебный.

Утешение

Поэты хорошие были
На славной немецкой земле,
Они давно опочили,
Исчезли их песни во мгле.

Но, как ни в чем не бывало,
Льют звезды свет с высоты,
И сердцу снова предстало
Сиянье былой красоты.

Приют дружины отважной
В глуши затерян лесной,
Но голос рога протяжный
Мы слышим каждой весной.

И там, где в сраженьях герои
Жизнь положили свою,
Встает поколение иное
Сразиться в честном бою.

Поэтам

У тех, чьи праведны стремленья,
Чей дух высок и разум прям,
В душе родится вдохновенье,
Даруя утешенье нам.

Пропала набожность былая,
Величья прежнего уж нет,
И красота ушла, рыдая,
Столь нетерпим стал белый свет.

О, робкая жена господня,
Ты, чистота наивных дум,
Они честят тебя сегодня,
И страшен их бесстыдный ум.

Сыскала ль ты приют в изгнание?
Кому являешь ты опять
Любовь, и доброе деянье,
И кроткой жизни благодать?

Места отыщешь ли родные,
Где ты играла на дворе,
Где звезды слушала ночные
И свежий ветер на заре?

Как солнце некогда сияло!
О, мир давно уже не тот!
Но что навеки миновало,
Еще в душе твоей живет.

Когда кругом темно и сиро,
Мир гибнет, зла не побороть,
Поэт – живое сердце мира,
И бережет его господь.

Что нам сулит господня милость,
Благоговейно перед ним
В земных деяниях раскрылось,
Зане природой он любим.

Ему господь поведал слово,
 Да назовет бесстрашно тьму
 И славит свет житья святого,
 Что неизвестно никому.

Грядет ли счастье иль невзгоды,
 Пускай выходит в дальний путь,
 Дабы дыхание свободы
 Сердца везде могли вдохнуть.

За честь сразиться наготове,
 Он обличает зло и злость.
 Как много доброй силы в слове,
 Что в чистом сердце родилось!

Но пусть души своей горенье
 Он от тщеславья бережет,
 Да не впадет он в заблужденье,
 Не станет падок до острот!

А если некогда придется
 Трудиться для пустых потех,
 Он от позора не спасется,
 И самый стих впадет во грех.

Да будет господом хранимо
 Все то, что песням ты отдашь.
 Чем ты живешь – в них станет зримо,
 Другое – лишь пустая блажь.

Светает. Гор златятся главы.
 Струятся ручейки в тиши.
 Я счастлив. Тем, кто сердцем правы,
 Желаю счастья от души.

Волшебная палочка

Вещи спят и ждут лишь зова,
 В каждой – песня взаперти.
 Мир поет, лишь надо слово
 Заповедное найти.

ПЕСНИ НАШИХ ДНЕЙ

Пленный

В плену томился рыцарь
Который год подряд.
Но слышал он в темнице,
Как флюгера звенят.

Но слушал он с волнением,
Когда звенел ручей
И с нежным птичьим пеньем
Сливался звон мечей.

Звучал напев веселый:
«Ура! Скорее в бой!» —
И снова шум сраженья
И мертвенный покой.

И точно ветер с моря
Шли голоса опять,
Сплетаясь или споря —
Нельзя было понять.

Но этот, полный ласки
И страх вселявший гул,
Как великан из сказки,
Вновь жизнь в него вдохнул.

Хоть мы и шутим, не избыть печали,
Лег бедным людям тяжкий груз на плечи.
Холодный ветер задувает свечи,
И мы найдем пристанище едва ли.

Но прелести слова не потеряли,
Но силы не утратили предтечи,
И ныне боль и радость человечьи,
Как звезды в небе, в сердце запылали.

Пускай твой голос будет внятн людям!
Притихший лес прорезан рогом дальним,
Журчит вода и лань бредет несмело.

Мы нынче плакать попусту не будем.
Мы лишь над Рейном постоим зеркальным,
Не расставаясь, хоть совсем стемнело.

Дух

Долгой ночи нет скончанья,
Спит невинность сладким сном,
И привычные мечтанья
Тают в сумраке ночном.

Встали башни на просторе
И затихло все вокруг,
Только в призрачное море
Смотрит сумеречный дух.

Тот, кому его случится
Встретить в латах и с мечом,
Никогда не соблазнится
Жизнью, хлынувшей ключом.

Но над крепостью пустынной
Загорится свет зари,
И виденье в миг единый
В страхе скроется внутри.

Стенание

О, если б в глухой дуброве
Я мог сегодня прилечь,
Прилечь, держа в изголовье
Старинный, дедовский меч,

И знать бы не знал о многом,
Чем в жалкие времена
Живет забытая богом,
Униженная страна.

Затем и слава былая
О рыцарской старине,
Упавший дух укрепляя,
Все снится и снится мне.

Напасти вот уже скоро
Конец положит господь,
Всевластье лжи и позора
Сумеет он побороть.

Как сталь под тяжелым млатом,
Под градом бед и невзгод,
Вдруг станет звонким булатом
Размякший было народ.

Одета будет зарею
Лесистая сторона,
Бой грянет, и вы, герои,
Воспрянете ото сна.

Гнев

В старом доме, как бывало,
Меч висит, покрытый славой,
Но едва лишь солнце встало,
Стало видно: весь он ржавый.

Гневный взор вокруг я кину,
Но давно пуста обитель,
Где в ненастную годину
Звал на бой страны спаситель.

Орды гномов стали ныне
Вверх карабкаться по скалам,
В тихий день полны гордыни,
Пресмыкаясь перед шквалом.

О святом и о высоком
Знают только для продажи,
И уносит их потоком,
Без тоски и вздоха даже.

Вспомню – верность где былая?
 Никого, кто жил бы ею.
 Наш позор припоминая,
 Я собою не владею.

И теперь с нагой вершины,
 Уходя корнями в землю,
 Словно ели-исполины,
 К небесам себя подьемлю.

Призыв

Один лишь ветер внемлет нашим стонам,
 Кругом возносят ложного кумира.
 Народ ничтожный, мы поникли сиром,
 И мало что осталось непреклонным.

А я теперь живу в лесу зеленом,
 Не ведая о треволненьях мира,
 Ручью внимаю, звонкому как лира,
 Пред замком замерев уединенным.

Но и ручей и лес вдруг зашумели:
 «Да ты чего, живущий, ждешь от жизни,
 Отдавшись в тишине своим звучаньям?»

Боль станет благородной в правом деле!
 И слава вновь придет к твоей отчизне.
 Господь велит нам жить таким желаньем!»

Тирольский ночной страж

Безмолвной дремой мир объят,
 И над ночным простором
 Лишь горы на часах стоят
 Да небеса дозором
 Идут во мгле
 По всей земле –
 Рать вышла золотая,
 Невинных защищая.

Вишь, тащат те, кто похитрей,
 Стремянки да веревки,

А ведь всевышний всех мудрей –
Расстроит он уловки.
Был план хорош,
Однако, ложь
Срывается с обрыва,
И жметесь вы стыдливо.

А нам бы, как в лесу стволам,
Быть заодно пристало,
Хранить бы твердость надо нам
И верность, как бывало.
Тебе, восход,
Дай бог с высот
Прогнать без промедленья
Ночные наважденья.

Прощание охотников

Кто, скажи, зеленый лес
Ввысь простер твои вершины?
Буду славить до кончины
Этот добрый дар нетес.
Ну, прощай,
Ну, прощай, зеленый лес!

Шумный мир внизу исчез,
По горам бредут косули,
Но не зря мы в рог задули,
Идя им наперерез.
Ну, прощай,
Ну, прощай, зеленый лес!
Буйной зеленью древес
Ты играешь, точно флагом,
И к старинным нашим сагам
Возрождаешь интерес!
Ну, прощай,
Ну, прощай, зеленый лес!

Мы любили этот лес
И всегда открыто скажем:
Немцы мы, и флагом нашим
Быть вовек листве древес.

Ну, прощай,
Будь здоров, зеленый лес!

На Рейне

Стынет Рейн в ночном покое.
Мы плывем по вольным водам.
Пьем вино мы золотое,
Песни добрые заводим.
Что в груди у нас живет,
Мы не развеем,
Не охладеем,
Тем и будем жить вперед.
Вышло время расставаться
Детям одного колена,
Но ведь истинное братство
И за сотни верст нетленно.

Негодование

Покрывл туман осенний
И реки и поля,
И грудь полна мучений,
Когда скорбит земля.

Горам не видно краю,
И все-таки с высот
На слух я различаю
Всемирной жизни ход.

Есть мужества немало
В судьбе моей страны,
Чтобы страна воспряла,
Льют кровь ее сыны.

Безмерно состраданье
К тебе, родной народ,
Но в скорбном созерцанье
Вся жизнь моя пройдет.

Решение

Когда, рожденный меж холмов отлогих,
 Поток однообразных дней струится,
 Не знает сердце, есть ли им граница,
 И чувству крыльев не поднять убогих.

Вот упряжь конская и манит многих,
 Кто жадно к жизненным благам стремится,
 И каждое желанье эти лица
 Умеют выверять в расчетах строгих.

Родимый край за старым буераком,
 Мост радуги над тихими полями,
 О чем вы так прельстительно запели?

Милее мне сраженье света с мраком,
 Где есть в разрывах туч восторга пламя.
 Вперед, мой конь! И мы достигнем цели!

Солдатская песня

Не буря ли молнией блещет
 И в трубы трубит во мгле?
 Но сердце зачем трепещет,
 Как будто конец земле?

Идет по полям пехота
 Под барабанный бой,
 И знамя вздымает кто-то
 Высоко над головой.
 Оно плывет, как невеста,
 Надевшая белый наряд,
 И сердцу в груди мало места,
 И ты, словно суженый, рад.
 Товарищи по оружию,
 Не тратя попусту слов,
 Сплотились крепко и дружно,
 И каждый строг и суров.
 Темна ведь господня воля.
 Она, как гроза, страшна.
 Внезапно затихнет поле,
 И смерть сверкает одна.

То вроде бы звуки рога
 Прорежут лесную даль,
 И вправду это тревога,
 И радость в ней и печаль.
 А с гор, сквозь сосны и ели,
 Сошел отряд егерей,
 Они в засаде засели
 И молча глядят из ветвей.
 И вот, в забвенье шагая,
 Пошла шеренга бойцов,
 За ней шагнула другая,
 «Ура!» – гремит меж стволов,
 И небо блестит за стволами –
 «Отец, я иду, я готов!»

Вновь трубы в полную силу
 Весной затрубили у нас,
 На свадьбу или в могилу
 Зовет их могучий глас.

Солдаты коней оседлали,
 Опять нас битва зовет.
 Солдаты коней оседлали,
 Мне с милой прощаться черед.
 Просторы светлее стали,
 И ветер влечет нас вперед
 К победе, к смерти и далее,
 На самый небесный свод.

Друзьям

Разгромлен враг, и рейнскую долину
 Мы, дал господь, очистили сполна,
 И мать-земля опять вернулась к сыну
 И ныне вновь немецкой названа;
 Так, опрокидывая вдруг плотину,
 Врывается могучая весна,
 Народ бурлит на торжище весеннем,
 И счастье жить мы непомерно ценим.

Установился мир. Он искупает
 Неслыханные ужасы войны,

Но с ним конец борьбе не наступает,
 Покамест люди истине верны.
 Война людские чувства распяляет,
 И кровь сочится на поля страны,
 Но суть добра, чуть отойдет разруха,
 Возобладеет в состязаньях духа.

Что это за влеченье ввысь такое?
 Ужель цель жизни – тихий уголок?
 Нет, мы напрасно грезим о покое:
 Победа ждет того, чей дух высок.
 Войне под стать оружие любое,
 И меч и книга, -- есть всему свой срок,
 Но мир лишь там всеобщим станет миром,
 Где каждый приобщен к своим кумирам.

Война дика – горят сердца и страны,
 В крови встает и меркнет белый свет.
 Но не навлек бы мир на нас неожиданно
 Нашествия иных, тягчайших бед.
 Я вам сказать намерен без обмана:
 Где дух угас, там и народа нет.
 И ни к чему тогда нам были войны, –
 Мы истинной победы недостойны.

Отчизне наше надобно служенье.
 Ты береги Германию, как брат.
 Но песнь души и мудрое сужденье
 Пусть в чистоте священный жар хранят,
 Серьезность, обретенную в сраженье,
 И честь, и добрый нрав и мирный лад.
 Мир – очагу, нет мира злобе черной, –
 Тогда минует нас удел позорный.

Неподалеку от Галле

Вот замок, где счастье мы знали,
 В поток загляделся речной,
 Веселую вижу Заале
 И камни стены крепостной.

Случалось мне видеть отсюда
 Цветенье просторов и гор.

Ни разу подобного чуда
Я в мире не встретил с тех пор.

Сквозь ржанье и бранные клики
Задорная песня слышна,
Встают прекрасные лики,
Как в рыцарские времена.

И мы на конях сидели,
И крепость была – наш дом,
И девушки, в самом-то деле,
Нас ждали за каждым окном.

А нынче те девушки стары,
Мещане повсюду царят,
Старинного братства не стало,
И каждый другому не рад.

И я у знакомых развалин,
Осилив дремоту свою,
Стою одинок и печален
И местность едва узнаю.

Те песни, что прежде тут пелись,
Ушли в невозвратную даль, –
О, юность моя, твоя прелесть
На сердце наводит печаль.

Минило

Да это разве старый бук,
Усевшись на котором,
Поля, простершиеся вокруг,
Окидывал я взором?

Да это разве бор сырой,
Который был чудесен,
Когда от милой я домой
Шел, полный новых песен?

Да это разве тот же дол,
Где днем пались косули

И где я ночью к милой шел,
Едва лишь все заснули?

Все тот же бук, и дол, и бор,
Мир молод, как бывало.
Да ты состарился с тех пор,
И прежней любви не стало.

ВЕСНА И ЛЮБОВЬ

Весенние голоса

Счастье жить на свете белом.
Ты меня смущаешь снова.
Я проститься должен с делом,
Прилежанья нет былого.

К нам весна прийти готова,
Стриж летит к родным пределам,
Двери настежь – в доме целом
Гула не унять лесного.

Со своим не спорь уделом, –
Иль в душе не слышишь зова?
Счастье жить на свете белом,
Ты меня прельщаешь снова!

Волшебная сеть

Милая, сплела однажды
Сетку ты в лазурной дали,
Руки белые свивая,
Лен кудрей и слова сладость.

И глаза твои шептали,
На охоту провожая,
«Не бросай меня, красавец!»
И, плененный, я остался.

Иль весна не наступала,
Не рога трубили в чаще,
Не взметалось разве знамя
И певца в лесу не ждали?

Милый друг, лесное знамя
Не под силу мне оставить!
Мне бы с песней подобало
Обходить земные дали.

Наделен двумя крылами
Тот, кого ты удержала.

Взмост жаворонок ранний –
От него я не отстану.

Коли хочешь песен старых
И певец тебе по нраву,
Кинь свой дом, свой сад прекрасный,
И уйдем в густую чащу.

На коне бы ты скакала,
Ветры вольные встречая,
И порой бы мне казалось,
Что со мной прелестный мальчик.

И охотник, встретясь с нами,
След бы бросил, дичь оставил,
И трубил бы спозаранку,
К нам навек пристать желая.

Кто тут стал кому соблазном –
Взор ли нежный твой прельщает,
Звуки рога или глас мой –
Нам вовек не длогаться.

Но ведь всем троим недаром
Нам весна в зеленой чаще
Сеть волшебную наслала,
И от века нет с ней сладу.

Весеннее приветствие

Гора горит, как пламя,
На утренней заре,
И ель стоит сияя
Высоко на горе.

И я, по сучьям ели
Забравшись в высоту,
Гляжу, как мир прекрасен,
Когда он весь в цвету.

Вечерний пейзаж

Раздался выстрел дальний,
Пастух трубит в свой рог,
Бормочет лес печальный,
Лепечет ручеек.

Уже туман сгустился,
А горы все в огне, —
Туда бы я пустился,
Когда бы крылья мне!

Напоминание

Нет, птичка все ж не столь жалка, —
Ведь вся трепещет птица,
Коль хлынул свет сквозь облака
И клетка золотится.

Ты ж, человек, испокон
В тюрьме не помнишь боле,
Что ты крылами наделен,
И здравствуешь в неволе.

Воробьи

Старый дом, пора проститься,
Нас назад не заманишь!
Солнце яркое лучится,
Тает снег и каплет с крыш.

Точим клювы под забором,
Их сквозь изгородь суем,
И весь день нестройным хором
Мы галдим у входа в дом.

Так резвится наша стая,
И отважны мы весьма,
В бой за милую вступаю, —
Значит, кончилась зима!

В далекие края
К возлюбленной моей
Лети, любовь моя,
И сердце ей согрей!

Утренняя серенада

Звонкий ключ, с горы сбегая,
Огласить спешит простор,
И от края и до края
В роще свищет птичий хор.
Все, чем грезит сумрак сада,
Упиваясь долгим сном,
Нынче в лозах винограда
Под твоим встает окном.
И, окутанные дремой,
Мы, сойдясь, откроем вдруг,
Что над местностью знакомой
Нависает вешний дух.
День шумливый бьет крылами,
И, глядишь, опять мы врозь.
Но уже владеет нами
То, что в сердце родилось.

Вечерняя серенада

Если мир вкусил покоя,
Спи, дитя, не знай обид.
В небе стадо золотое
Добрый пастырь сторожит.

Пронеслись грозы порывы,
И опять я одинок.
Взял я цитру торопливо
И, дрожа, сажусь в челнок.

И, в листве плутая сонной,
В одинокий твой приют,
Как по лесенке злаченной,
Звуки тихие идут.

Зашептала мгла ночная,
И красавец мальчуган

Поднял посох, проплывая
Над утесами в туман.

Стародавние преданья
Он поет на прежний лад.
Эти сладкие звучанья
За челном его летят.

Ветром ночи дерзновенным
Невзначай с пути сведен,
Звук проникнет через стены
И смутит девичий сон.

Ночь

1

Пернатых радостное пенье,
Живых цветов наряд,
Заглохли, канули в забвенье;
Одни стремленья
Любви не спят.

2

Вспыхнет звезда над миром
И обойдет небосвод,
Живу я в разлуке с милым,
Отправился он в поход.

Завоют в поле собаки,
Поблекнет месяц чуть-чуть,
И лес загудит во мраке.
Всадник, опасен путь!

Выбор

И скрипки отзвучали,
И танец вдруг исчез,
Кружиться звезды стали,
А петь – дремучий лес.

Здесь пусто и уныло,
Гостей простыл и след.
Ты из окна спросила:
«А скоро ли рассвет?»

Меня гнетет досада
Что плакать мне невмочь,
Что песни петь мне надо,
Покуда длится ночь.

А только день займется, –
И речка хороша,
И соловью поется,
И счастлива душа.

В руках ты держишь розы, –
Кто краше твоего?
Откуда ж эти слезы?
И бледность отчего?

Гони ты всех отсюда,
Вели им быть трезвей,
Ведь я все жду, как чуда,
Чтоб ты была моей!

Тишина

Никто про это не знает –
Выпала мне благодать.
Про то, что со мной бывает,
Другим не надобно знать.

Снега, покрывшие поле,
Звезда, светя с высоты,
Умеют молчать не боле,
Чем эти мои мечты.

Увидеть бы на рассвете
Мне жаворонков двоих,
Гнались бы пусть друг за другом,
А я глядел бы на них.

Вот стать бы мне вольной птицей
 И в дальний пуститься край,
 И за море бы, и дальше,
 Пока не увижу рай.

Весенняя сеть

Лег паренек в траву поспать
 И вдруг услышал пенье.
 Звал голос милой. Где унять
 Ему сердцебиенье!

Когда колышутся, как сеть,
 Над ним цветы средь луга,
 Душе никак не одолеть
 Любовного недуга.

Потом проходит волшебство,
 Но чуть снега растают,
 Напевы дивные его
 Уже не оставляют.

Девчонка

Рано поутру девчонка
 Выходила на крыльцо
 И расчесывала косы,
 Мыла белое лицо.

Пели птицы где-то рядом,
 Свет манил издалика,
 И над милым сердцу садом
 Проплывали облака.

И с утра она гадала,
 Сколько ждет ее забот,
 Косы долго заплетала
 И, бывало, все поет:

«Ах, любви, как вольной птице,
 Невтерпеж в гнезде своем,
 Ввысь и вдаль она стремится, --
 Поневоле бросишь дом!»

Студенты

Спешит охотник в темный бор,
Несется всадник по полям,
И держат путь к чужим краям
Студенты, выйдя на простор.

Сто тысяч птиц поют вокруг,
Затеяв празднество весной,
Меня дурманит шум лесной,
Ну, здравствуй, здравствуй, милый друг.

Уж так случилось, что судьба
Наслала к вам лихих парней.
Пускай повадка их груба,
Мое дитя, ты не робей.

На них ты искоса взирай,
Ты их разглядывай тайком,
А кто понравится, пускай
Твоим становится дружкойм.

И я крадусь к тебе теперь,
Назло ветрам, во тьме ночной,
Ну, отвори, открой мне дверь –
Ведь мы же молоды с тобой!

А там прощай! Что плакать зря?
Дорога сызнава зовет,
Над лесом занялась заря,
Студенты двинулись вперед.

Садовник

Скользит ли взор упрямый
Вдоль гор или лугов, –
Повсюду перед самой
Прекрасной и знатной дамой
Склониться я готов.

Нет ни конца, ни краю
В моем саду цветам.
Из них я венки сплетаю,

Там все, о чем гадаю,
И все поклоны там.

А ей подать не смею
И одного цветка.
Все меркнет перед нею,
Полна любовью своею,
Душа поныне робка.

Не видно, что со мною,
На взгляд я рад судьбе,
А невтерпеж порою, –
Пою да землю рою,
Могилу рою себе.

Охотник

О, что за порывы на каждом шагу?
И что за мечты на зеленом лугу?
Чего я страшусь? Что узреть я могу?

А разве не сладок земли аромат?
А разве за рощей рога не трубят?
А разве в горах не гремит водопад?

Так вот и гони ты косулю быстрее
Сквозь заросли леса и дали полей,
Покуда не станет добычей твоей!

Дозорный

Шел как-то ночью я лужком,
В округе все заснуло,
Навстречу – паренек с ружьем,
В меня оставив дуло.
К нему бегу я что есть сил –
Уж так я разъярился! –
А только он курок спустил,
И наземь я свалился.
Но лишь посмеивался он,
Что пуля в цель попала.
То был плутишка Купидон,
И как-то грустно стало.

Тихое счастье

Всю ночь моросило,
И в мареве земля,
И дрема охватила
Окрестные поля.
По небу голубому
Лучи пошли смелей.
Смеется солнце сквозь дрему,
Как та, что мне всех милей.

Вот разошлась погода,
И наш я вижу дом,
Где ты стоишь у входа
И виноград кругом.
И светом счастья одеты
Река и простор полей.
Как солнце и утро, мне ты
Сквозь дрему всего милей.

Поэт

С ней в разлуке вспоминаю,
Здесь, в глуши, любовь мою.
Я стихи о ней слагаю,
Песни я о ней пою.
Хоть меня приметит муза,
Мир поэтом назовет,
А с души не скинуть груза
Испытаний и забот.

Но когда я с нею рядом,
Сразу дней моих поток
Льется звонким водопадом,
Где ликует каждый слог.
Мне бы это ликованье
Удержать в стихах моих,
Но я рад хранить молчанье,
Если будет жизнь как стих.

Но правит страх ее душой
Среди чернеющих стволов.

Она

Среди чернеющих стволов,
Мой милый, снова мне предстань!
Столь статен вышедший на лов,
Что умереть готова лань.

Он

Но если умерла бы лань,
Не стал охотиться бы я.
И раз я встал в такую рань,
Беги, спасайся, лань моя!

Она

Беги, спасайся, лань моя!
А лань ответила бы вновь:
В какие мне бежать края,
Когда сожгла меня любовь!

Он

Когда сожгла меня любовь,
Узрев твою красу и стать,
Я проливать не стану кровь,
Я буду тихо лань ласкать.

Она

Ты будешь тихо лань ласкать,
Стараясь в хлев завлечь тайком,
Но в горы лань уйдет опять,
Смеясь над нежным дурачком.

Невеста

Если почки набухают,
Если к дому тянет птиц,

В близких душах возникает
Чувство счастья без границ.

О, блаженные рыдания!
В час, когда душа полна,
Там не страсти, не страдания,
А восторг и тишина.

Голубеют нынче дали,
Мир исполнен красоты,
И в росе лучиться стали,
Отраженные цветы.

И пускай любовь – мученье
И ведет в могилу грусть,
Я ищу не наслажденье,
Не о здравии пекусь.

Умница

Кувыркайся, мой дружок!
Веселись и не робей!
Под венец без проволочек!
Нынче ночью стань моей!

Если вынесла Шекспира
Ты, невинная душа,
И моя тут будет лира
И любая хороша.

Счастье любви

Жить без любимой нету мне мочи,
Точно две свечки, горят ее очи,
Если она выбегает на луг,
Тотчас весь мир сияет вокруг.

Как потаенные тропы лесные
Вдруг озарятся в минуты ночные
Или во мраке заблещет ручей,
Что-то в душе расцветает моей.

Словно морским беспредельным просторам,
Где до земли не дотянешься взором,
Взмывшего в синее небо орла, –
Нету ни меры любви, ни числа.

Ночь

Ночь сродни морской тиши, –
И тоску, и ликование,
И терзания души
Волн доносит колыханье.

Будут вдаль, как облака,
Плыть желанья до рассвета,
Как спросить у ветерка,
Было это, грезы это?

Я молчу. Зачем луне
Слушать сердца излиянье?
Но останется во мне
Волн полночных колыханье.

К танцовщице

Перед нами ты предстала,
Кастаньетами звеня,
Кудри ветром разметало,
Но пленила ты меня.
В упоенье вьется тело,
Ты пошла,
Поплыла,
Слиться с музыкой сумела,
На волнах взлетая смело.

Отчего очей сиянье,
И зачем черты бледны –
Или тайные желанья
В танце все обнажены?
Вниз лукаво поглядела,
Вся – точь-в-точь
Страсти ночь,
И в истоме ты запела, –
Подыми же очи смело!

Ты велишь не знать предела
 Тем страстям, чья глубь темна,
 И сама теперь всецело
 Волшебству их предана.
 Насмерть сковывает тело
 Жаркий грех,
 И для всех
 Отцвела ты и отпела.
 Нет печальнее удела!

Сетование

Сложил я много песен
 Про дивные дела,
 Про то, как мир чудесен
 И как любовь светла.

Что с губ моих слетало,
 Все было от души,
 И в этом не бывало
 Хоть малой капли лжи.

Но милая смеялась
 Над пением моим,
 Меня послушав малость,
 Пошла она к другим.

Терпеть ее немилость
 Недоставало сил,
 И голова кружилась,
 Как будто разлюбил.

Кому свою обиду
 Поведаю, господь,
 Как не подать и виду
 И сердце побороть?

Распалось то, что было,
 А мне она мила,
 Другое все постыло.
 Скорей бы смерть пришла!

Осенью

Лес потускнел, листва опала,
И не узнать земли.
Ручьи, как будто дрема их сковала,
Тяжеле потекли.
И слышен, как бывало,
Вечерний звон вдали.

Судьбой гонимый нелюдимою,
Я как сюда попал?
Ведь колокол такой в стране родимой
Ребенком я слышал.
Гляжу, тоской томимый, –
Мир, где я жил, – пропал.

Былые песни пусть бы зазвучали,
Чтоб сердце я разбил!
Последний шлю привет из дальней дали
Всему, что я любил.
А сам клонюсь в печали
Под сень чужих могил.

Последнее приветствие

Пришел я, тоской гонимый,
Туда, где не был давно.
Вот домик моей любимой,
Она все глядит в окно.

Она завела другого,
Пока я был на войне.
Пойду воевать я снова,
Раз вышло все не по мне.

Девчонка сидит такая,
Как мать в давнишние дни,
Сказал я, к ней приникая:
«Всевышний тебя храни!»

А девочка оробела
И затрясла головой,

И долго мне вслед глядела,
Не зная, кто я такой.

Пошел я молча оттуда,
Кружа меж лесных дорог,
И словно во власти чуда,
До света трубил мой рог.

А утром она зарыдала,
Уж был я далече тогда.
И больше меня не видала
Она с той поры никогда!

Под липой

В молодые годы на стволе твоём,
Под ветками твоими,
Весной, томясь впервые сладким сном,
Я вырезал возлюбленное имя.

Не та уж ты сегодня, что тогда, –
Те ветви разрослись, а часть опала,
И на стволе бывшего нет следа,
Как нет тех дней и той любви не стало.

И я, как ты, совсем уже не тот
Стою в глуши уединенья.
Лишь рана все растёт – никак не зарастет,
И, видно, мне не будет исцеленья.

Серенада

Из-за туч на град унылый
Льет луна свой свет с высот,
И студент у двери милой
Песню нежную поет.

Водомет журчит, играя,
Тишь пустынна и темна,
И рокошет мгла лесная,
Как в былые времена.

В молодые, помню, годы
Тут нередко по ночам
Столь же пламенные оды
Я певал, бывало, сам.

Но от песни у порога
К сердцу милой плыл покой, —
Пой же, парень, ради бога,
Пой, не умолкая, пой!

Новая любовь

Сердце, сердце, где узнали
Мы восторг и тайный страх, —
Не счастливая весна ли
Начинается в горах?

Это девушка припала
Сердцем к сердцу твоему,
И земля тебе предстала
Точно в розовом дыму.

И в огромный мир, как прежде,
Сам тянусь я из окна
К давним снам, к былой надежде!
Пусть скорей придет весна!

Не могу молчать про это,
И в груди поет опять,
Но кругом так много света,
Что не хочется писать!

Я по улицам плутаю,
Люди ходят взад-вперед.
Чем я занят — сам не знаю,
Знаю — счастье настает.

Весенняя ночь

Перелетных пташек пенье
Слышу я в саду своем.
Это дух идет весенний,
Расцвело уже кругом.

Ликовать и плакать буду, –
 Разве это может быть?
 И положенному чуду
 Вышел месяц посветить.

Узнаю от звезд небесных,
 От деревьев слышу я,
 В соловьиных слышу песнях:
 Вот она, она твоя!

Счастье

Душою моею
 Восторг овладел,
 Как скрыть я сумею
 Свой сладкий удел?

Хоть люди и стали
 Шептаться дрожа,
 Моя-то едва ли
 Им внемлет душа.

Мне дом, как чужбина,
 Сияют поля,
 Сверкает долина,
 Светлеет земля.

И все, что таилось
 В душе у меня,
 По лугу пустилось!
 Ах, мне бы коня!

И как ни толкую,
 Все в толк не возьму,
 Что я дорогую
 Опять обниму!

Радость любви

Мир дремлет у причала.
 Спокойно спи, мой друг!
 Любовь не задремала,
 Хоть дремлет все вокруг.

В душе так много света,
И сам я полон сил,
Не ведал я про это,
Пока не полюбил.

Не нужно мне отныне
Жить, попусту спеша,
И этой благостыни
Не расточит душа.

Запеть бы надо, что ли,
Тут сердцу моему
О чудесах, дотолле
Не внятных никому?

О, если бы открыться,
Забыв и страх и стыд!
Но то должно таиться,
Что счастье мне дарит.

На закате

Всё об руку, бывало,
Свершали мы свой путь,
И вот пора настала
От странствий отдохнуть.

Безмолвие такое
И мгла по всей земле,
И жаворонков двое
Скрываются во мгле.

Что же пусть летят далеко,
А нам ко сну идти.
Так нынче одиноко, —
Не сбиться бы с пути.

Все впереди, казалось,
А вот сгустилась тьма,
И нас взяла усталость, —
Иль это смерть сама?

Отзвуки

1

Если дол цветет с утра,
 Птицы рады петь.
 А не скоро ли пора
 Листьям облететь?

Не поймешь, взглянув со скал
 На простор полей,
 Отчего вдруг зарыдал
 Кроткий соловей.

Чуть ступил в страну свою,
 Бодростью объят,
 И уже без сил стою,
 Глядя на закат.

Что-то холодом тянуть
 Стало по ночам.
 Не пора ли, птицы, в путь?
 Вот и мне бы к вам!

2

О, кроткий день осенний,
 Теперь твоя страна
 От долгих превращений
 Хоть в красках, а бледна.

И пусто мне без брата
 В заброшенном краю,
 Места, где жил когда-то,
 Почти не узнаю.

С поблекших губ слетая,
 Звучит напев родной.
 Уже земля сырая
 Раскрылась предо мной,

И я лежу в могиле
 И слышу голос твой,

И липы схоронили
Меня своей листвою.

3

Моему брату

Ты помнишь, без сомненья,
Наш дом в глуши лесной,
И робкие томленья:
Не пахнет ли весной?

Там был скрипач-скиталец, –
Мы каждую весну
С ним вместе отправлялись
В чудесную страну.

Куда по белу свету
Нас развели пути?
На неизвестность эту
Ответа не найти.

Теперь в огне заката
Горит наш старый дом, –
Иль тот скрипач когда-то
Заснул там вечным сном?

Семья давно распалась,
И свет ее погас,
Людей-то не осталось,
Чтоб помнили про нас.

И вот уже чужие
Спешат из дома в сад,
Но липы вековые
О нас еще шумят.

По-прежнему за ними
Стоят вершины гор.
Как были молодыми,
Мы помним до сих пор.

То словно замирая,
То прежнего сильней,

Напев лесного края
Встает в душе моей.

Начнется с бормотанья,
Но вот я запою,
И песне нет скончанья
Про родину мою.

ДАНЬ УМЕРШИМ

Верность

Странник слезы льет порою
В тихом сне, в чужом краю
И за облачной грядюю
Видит родину свою.

Так сквозь вешние приметы,
Выше гор и ниже вод,
Возникает лик твой где-то
И к себе меня зовет.

И волна встает былая,
И невнятные, как во сне,
Льются песни, оставляя
Грудь смятенной в глубине.

На смерть моего ребенка

Значит, жизни не осталось,
Значит, ночью нету сна.
Я без сил, когда усталость
Целый мир избыл сполна.

Значит, ветер всхлипнул тонко,
И колокола опять, —
Стали моего ребенка
Каждой ночью отпевать.

Значит, я, припав к могиле,
Ношу выдержал свою,
Значит, песням, что постыли,
Я безумство отдаю.

Воспоминания

И направо и налево
Лес и поле зацвели,
И охотничьи напевы
Где-то слышатся вдали.

А рыдания с новой силой
Давят, к сердцу подступив,
Оттого, что я у милой
Этот выучил мотив.

Голос памяти – не боле
Как тщета или обман,
И сквозь слезы лес и поле
Расплываются в туман.

На чужбине

Плывут облака с родной стороны
В огне ушедшего дня.
Давно отец с матерью погребены,
Забыли там про меня.

А скоро, скоро придет покой,
И я усну, и приют
Себе обрету в тишине лесной,
Забудут меня и тут.

О ДУШЕ

Юношеские раздумья

Что шепчут нынче дали голубые?
О чем луга и пашни зазвенели?
Мне так легко и странно. Неужели
Я, точно в детстве, вижу мир впервые?

Я знаю эти краски полевые
Девичье тело бережно одели,
Покров бескрайний зыблется доселе,
И спит она, сны видя вековые.

Теперь, мне кажется, что мне навстречу
Послать готовы голубые дали
Все те цвета, что прежде здесь сияли.

Я кротко жду, на вешний мир взирая,
И сердце вдруг трепещет, обмирая.
От счастья?.. С горя?.. Толком не отвечу...

Вечер

Разорвана нить золотая,
Стоит тишина вокруг,
Чего хочу – не знаю,
И падает все из рук.

И кажется – край окрестный
Мукой полон моей,
И сердце парит над бездной
Безумных ради затей.

Глядишь, за скалу ухватиться
Толкнет и радость и боль,
И мне готова гробница
В ложбине будет любой.

А тут весны ликование
Поет, как бродячий певец,
Опять про былые желанья,
Которым придет ли конец?

А луг цветами покрывлся,
И жаворонок взмыл ввысь,
И я в траву повалился,
И слезы полились.

Я плакал, от счастья тая,
И знал, что ищу я вокруг,
И нить росла золотая,
И сердце стихало вдруг.

И вечер по розовой пыли
На землю неслышно сошел,
И звезды над спящим всходили,
Священный держа ореол.

Будни

Мы бродим по свету уже века,
И нет от этого проку –
Во много раз дольше бурлит река,
И все не придет к истоку.

Зима

Скрыт во мгле туманной
След забот моих,
Словно бездыханный,
Я давно затих.

Плохо нынче людям,
Снег валит опять.
Не сдавайся – будем
И весну встречать.

Суета какая
Изводила здесь –
Ненависть людская,
Призрачная честь?

Конь мой легкокрылый,
Брошу удила,

Смело, с прежней силой,
Расправляй крыла.

Если отзвучали
И забыли след
Страсти и печали
Лучших наших лет,

Ты меня, как птица,
Пронеси сквозь тьму!
Рад я воротиться
К дому моему.

На повороте

Повсюду перемены:
Свет застят облака,
Живые – все мы тленны,
А радость коротка.

В судьбу, как вор, страданье
Закрадется подчас,
Настанет расставанье
С тем, что пленяло нас.

Всю эту жизнь среди мрака
С мьгарством и тоской
Кто вынес бы, однако,
Не промысел бы твой!

Что строили доселе,
Ломаешь ты опять,
Чтоб небо мы узрели, –
На что же нам роптать?

Больной

Никогда к родному краю
Не вернусь я разве вновь?
И уже не испытаю
Ненависть или любовь?

За окошком возникает
Листьев трепетных игра,
Ветерок не возвещает,
Что умолкнуть бы пора.

О, долины за холмами,
Ключ, журчащий в тишине,
И частенько же над вами
Вдаль умчаться хотелось мне!

А теперь – лети, как птица,
Но душа, идя в полет,
На себя взглянуть боится,
И сильней земля влечет.

Погребальный звон

Уже затихло море,
И облака уже
Играют на просторе,
А тяжело на душе.

Еще темнеют дали,
Но вот редет мгла.
Вершины засияли.
Звонят колокола.

Так чисто не звонило
Доселе испокон, –
Так что же это было?
То был тяжелый сон.

Странник

Не ведая откуда,
Мы двинулись вперед,
Как истинное чудо,
Земля нам предстает.
И небо голубое,
И звонкая весна,
Манят нас за собою,
И счастья грудь полна.
Но скоро зной палящий

Земле спирает грудь,
И луг и замок в чаще
Торопятся заснуть.
А нам видна сквозь дрему
Зловещая беда,
И мы стремимся к дому,
Не ведая куда.

Отшельник

Ночная тишина земли!
Ты из-за гор встаешь вдали,
Кругом все сном объято,
И лишь рыбак на лоне вод
Во славу господи поет,
Вернувшись до заката.

Как облака, идут года,
Но одинок я навсегда,
Все про меня забыли.
Бываешь только ты со мной,
Когда я здесь, в глуши лесной,
Вздохну о давней были.

Ночная тишина земли!
Меня здесь за день извели,
Морская даль темнеет.
Даруй от радостей и бед
Ты мне покой, пока рассвет
Над лесом не зардеет.

Певец

По тропам потаенным,
В ночи, среди деревьев,
Певца безумным звоном
Гнал собственный напев.

Слышал грозы раскаты
И сделался угрюм,
Смятением объята
Душа его и ум.

Поник он долу взором,
А в душу все равно
К нему незримым взором
Войти еще дано.

Порой бряцать струнами
Позабывал совсем.
Исходит он слезами
И стал навеки нем.

Утренние сумерки

Лесная глушь притихла в ожиданье,
И даже в звонком соловьином пенье
Покамест разлито одно томленье,
Но не слышать ни счастья, ни страданья.

И жаворонок слушает звучанья,
Чуть донесет их ветра дуновенье,
Однако не спешит начать паренье,
Пока не занялось зари сиянье.

А я уже давно стою среди сада
И выбегаю в дремлющее поле,
Где гнется долу колос молчаливый.

О, птицы кроткие, дождаться надо
Нам утреннего света, а дотоле
Всю ночь мы песне отдаем тоскливой.

Сочельник

Опустел сегодня рынок,
Озарился каждый дом,
И на улицах пустынных
Засияло все кругом.

До чего пестры нарялы
Кукол, дремлющих в окне, –
Сотни деток нынче рады
Поглядеть их в тишине.

Оставляю город спящий,
Вижу вольные поля,
Блеск священный, дух парящий!
Не шелохнется земля!

И в ночном уединенье
Звезды блещут до утра,
Словно с неба льется пенье, –
О, блаженная пора!

Прощание

На новь глядя лес гудит
Долго и сурово,
А вверху звезда горит
И мерцает снова,
И не вымолвить ни слова,
Только лес один гудит.

Лес и мир найдут покой,
Погрузятся в дрему,
Путник поглядит с тоской
На дорогу к дому,
Вверяясь капищу лесному,
Обрети душа покой!

Лунная ночь

Целует, что ли, землю
Вечерний небосвод?
И вот, ему лишь внемля,
С тех пор она живет.

Плыл воздух над полями,
Хлеба клонило вниз,
И лес шуршал ветвями,
И звезд огни зажглись.

И крылья расправляла
Душа в тиши ночной,
Как будто улетала
К себе она домой.

В добрый час!

Я в этой жизни претерпел немало;
 Могу сказать – сильнее страсти нет,
 Чем побуждавшая всходить на скалы
 Или искать животворящий свет,
 Как рудокоп, что под землей затерян,
 Дорогу к солнцу ищет меж расщелин.

Так некогда открылась мне вершина,
 К которой долго я робел шагнуть.
 Чем жизнь манила – стало все едино,
 Лишь напоследок защемила грудь,
 Вокруг притихла гордая природа,
 И горний свет струился с небосвода.

Столь жалкой стала суета земная,
 Так мелко все, что в жизни я свершил,
 Теряя цель и попусту блуждая;
 Но наподобье чудотворных крыл
 Парила страсть по сумраку ночному
 И привела меня к родному дому.

Ночная песня

Пора дневная отошла,
 Вдали слышны колокола,
 И в этом ночь проходит вся.
 Бесследно что-то унося.

Пропала радость прежних лет,
 И друга преданного нет.
 Где просиявший женский взгляд?
 Иль нынче мне никто не рад?

Земля безмолвствует пока,
 Лишь проплывают облака
 Да ветви клонятся скрипя, –
 С чего же дрожь берет тебя?

Огромный мир во лжи погряз,
 Лишь тот мне верен в трудный час,

С кем горе мыкаю вдвоем,
Покуда сам пекусь о нем.

Так пой же, милый соловей,
Ручья прозрачного звончей!
Мы будем богу петь хвалу,
Пока рассвет не сменит мглу!

Ночные голоса

Нет покоя у потока;
Звездной ночью небеса
Благости даруют столько,
Что дремучие леса
Лишь трепещут в нетерпенье;
Только в смертных, только в нас,
Есть греховное стремленье
В благодатный этот час.

Зимняя ночь

Земля под снегом чуть жива,
Тоскливей нет удела.
Давно поблекшая листва
С деревьев облетела.

И в поле дерево одно
Полночный ветер клонит,
И чуть колышется оно
И, как в дремоте, стонет.

К нему во сне пришла весна,
Ручьи звенят на склонах,
И вновь хвала творцу слышна
В листве дерев зеленых.

Так или иначе

Кто сразу дело ставил,
Кто песни только пел, –
Один свой век направил,
Другой – запечатлел;
А кто судить берется, –

И так оно идет.
Всевышний разберется,
Добро не пропадет.

Напролом!

Орел на скалы опустился
Над морем, бурями гоним.
Он в высоте с дороги сбился,
И нет пути ему к своим.
Внизу, в тумане, лес едва ли
Уже от моря отличим,
А он уходит ввысь все дале,
Покамест небо есть над ним.

РОМАНСЫ

Свадебное путешествие

На крутых кремнистых скалах,
Выступающих из вод,
В старом замке, в пышных залах,
Свадьба шумная идет,
И, свечами озаренный,
Вьется пляс пестросплетенный.

Но, подняв внезапно очи
И забыв гостей своих,
В даль морскую среди ночи
Устремляет взор жених
И следит бесстрашным взором
За безжизненным простором.

Наконец, прервав молчанье,
Нареченной он сказал:
«Нежно цитры воркованье,
Но во мне бушует шквал,
И морской волны кипенье
Сердце свергнуло в смятенье.

Я в бесцельном ожиданье
Не смогу прожить и дня,
И напрасное старанье –
Здесь удерживать меня.
Много стран в бескрайней дали –
Их мне звезды указали.

От тебя не скрою правды,
Но и ты мне доверяй,
И с тобой, как аргонавты,
Мы уйдем в чудесный край,
Отдаваясь ветру жизни,
Я приду к своей отчизне.

Чувства жаркого порывы
Наполняют паруса,
Нас влечет, пока мы живы,
Чужедальняя краса.

Или ты не помнишь зова?
Ты идти со мной готова?

Ты и впрямь любви хотела?
Что же медлишь ты тогда?
От родимого придела
Отступайся навсегда!
От родной уйдя опеки,
Станешь ты моей навеки».

На него взирая нежно,
Тихой кротости полна,
Беззаветно, безмятежно,
Говорит ему она:
«Ты один даришь мне счастье.
Ты решай – в твоей я власти».

И с добычей драгоценной
На корабль ступает он,
И уже пучиной пенной
Он от замка отделен,
И отроги скал безмолвны,
Только бьют о берег волны.

Словно звезды, затухая
Перед утренней зарей,
Тает пламя, полыхая,
За покинутой горой,
А поверх волны бурливой
Вьется парус горделивый.

Дни идут, минуют сроки,
Веет дух чужой земли,
Вот и остров одинокий
Открывается вдали,
Голубой туман клубится,
И чужие реют птицы.

Веет сладостная дрема, –
Но темнеет море вдруг.
Пронеслись раскаты грома,
И взъярилось все вокруг.

Но и с бурей и со шквалом
Спорит рыцарь за штурвалом.

А суденышко трепало
И швыряло по волнам,
И, подняв на гребень вала,
Разломало пополам,
И, волны увидев ярость,
Дева к милому прижалась.

Он, обняв ее нежнее,
Прыгнул вниз, могуч и смел,
И бесстрашно вместе с нею
Пенный вал преодолел,
И, пучину переспоря,
Вынес милую из моря.

«Встань, Взгляни, как засияли
Солнце, луг, цветы, трава,
В целом мире не видали
Мы такого волшебства.
В мире нет чудесней края!
Пробудись, проснись родная!

Но безжизненное тело
Распростерлось на земле,
Лишь надежда не тускнела
На хладеющем челе,
И кругом блестят росинки,
Словно тихие слезинки.

Он, приняв удар жестокий,
К милой обращает глас,
В диком мире одинокий,
Он рыдает в первый раз.
Смерть глазам его предстала,
И душа смиренной стала.

Больше нет былой гордыни,
И обман разоблачен,
Об *иной отчизне* ныне
Узнает внезапно он,

Хоть в страданиях он томится,
К небу дух его стремится.

И в юдоли сей постылой
Прах земле он предает,
Крест он ставит над могилой,
На нее свой меч кладет,
Власяницу надевает,
Келью в камне вырубает.

В келье он живет скалистой
Над бунтующей водой,
Одинокий, кроткий, чистый,
Спорит со своей бедой,
Отыскав к исходу жизни
Путь к невесте и к отчизне.

Ходит к острову немало
Кораблей из дальних мест,
Корабли обходят скалы,
Наверху заметив крест.
И теперь про благодать эту
Весть идет по белу свету.

Ночной странник

Он скачет всю ночь на кауром коне
И замок оставить спешит в стороне:
Ты спи до рассвета – чем ночка темней,
Тем больше вреда от нее для людей.

Он мимо пруда уже скачет в обход,
Там бледная девочка песню поет,
Ее рубашонка дрожит на ветру.
Вперед, а не то я со страху умру!

Он скачет уже вдоль реки, как шальной,
Приветливо машет ему водяной,
Тотчас же со свистом скрываясь в воде,
И снова ни звука не слышно нигде.

У ночи и дня возникает разлад,
Уже петухи на деревне кричат,

И конь неумный, не зная, как быть,
Берется могилу для странника рыть.

Дочь леса

Я огонь, который светел,
Я горю меж диких скал.
Мой дружок, соленый ветер,
Танцевать меня позвал.
Переменчив он безбожно,
Вспыхнет, глядь,
И опять
Пламя клонится тревожно:
Брось меня – обжечься можно.

Там, где над ручьем бурливым
Вырос пальмы тонкий ствол,
Скачут серны по обрывам,
Чуть охотник подошел.
Прядать серной не устану
По горам,
Хоть бы там
Снег лежал, куда ни гляну.
Не лови – твоей не стану!

Птица я, и сине море
Пересечь бы я могла,
На заоблачном просторе
Мчась быстрее, чем стрела.
Цепи гор и луга сырость,
И лески
Далеки, –
Все в волнах морских сокрылось.
Ах, с дороги птица сбилась!

Незнакомец

В селе звонить к вечерне начинали,
И удалялись птицы на покой.
Лишь на лугах цикады стрекотали,
Да лес гудел и шелестел листвою,
И странник шел среди густой пшеницы,
Спеша домой, должно быть, воротиться.

Передохнуть в тени густого сада
Его позвал мужчина среди села.
И хлеб, вино и гроздья винограда
Жена его младая принесла.
И, взяв сыночка, села по соседству,
Не в силах на ребенка наглядеться.

Сдавалось ей, тут гость бывал и ране,
Хоть странно, не по-нашему одет.
Струилось по лицу его сиянье,
Как будто бы зарницы дальний свет.
Его встречая взгляд, она пугалась,
Как будто глубь небес ей открывалась.

Уже ночная веяла прохлада:
Про то, что в жизни ведал он своей –
И про Везувий, три сгубивший града,
И про хрустальный остров среди зыбей,
Про дивный звон, что шел со дна морского, –
Гость много мог порассказать чудного.

«Так натерпеться – и опять в дорогу? –
Сказал хозяин с жалостью в очах, –
У нас бы зажил ты, как все, ей богу,
И тоже свой бы мог завести очаг.
За дочкой наш сосед дает немало.
А отдохнуть тебе бы не мешало».

И странник встал. А звезды полыхали,
Усыпав почерневший небосклон.
«Храни вас бог. Мой дом – в далекой дали».
И только с ними распростился он,
Лука и лес чудесно зазвенели, –
Столь ясной ночи не было доселе.

Тихий жених

Пастырь-месяц гонит смело
В небеса стада свои.
Просыпаться, знать, пришло
Притаившейся любви.

Дальний звон за лесом тает.
 Ветром сорванный с высот
 Звук внезапный долетает,
 И косулю страх берет.

Начинает доноситься
 Храп коня и стук копыт,
 К замку милой юный рыцарь
 В сонной темени спешит.

Но в предвиденье рассвета
 Побледнеет месяц вдруг,
 И бесследно сгинут где-то
 Всадник, стадо и пастух.

Разговор в лесу

«Настала ночь, померкнул свет.
 Куда ты скачешь? Дай ответ!
 Ведь ты одна в глухом лесу,
 О, дева, я тебя спасу!»

«Хитрят мужчины что есть сил.
 Обманщик сердце мне разбил.
 Взывает рог из темноты.
 Беги! Кто я – не знаешь ты».

«Богаты сбруя и наряд,
 И стан и плечи тешат взгляд.
 Помилуй, боже, – ей же ей,
 Ты – чародейка Лорелей».

«Ты прав! Над Рейном на скале
 Мой замок высится во мгле.
 Настала ночь, померкнул свет.
 Тебе пути обратно нет!»

На реке Заале

Бывает порою летней
 Летит полуденный звон
 С соседней башни столетней,
 Как из былых времен.

Однажды рыбак в эту пору
Грести торопливей стал,
Затем, что предстала взору
Красавица между скал.

Кудрями потряхнув сначала,
Рекла она в тишине:
«Да что тебя испугало?
Не ты ведь надобен мне!»

Кольцо она бросила в реку:
«Кто смел, – принесет его вновь,
И этому человеку
Отдам я свою любовь!»

Старый сад

Пионы и лилии всё красны,
Не отцветают они.
Давно отец с матерью погребены,
Цветы лишь цветут одни.

Лепечет фонтан о том, что стряслось
Множество лет назад.
И женщина дремлет, а пряди волос
На платье у ней лежат.

Берет она лютню, как бы во сне
Опять заводя свое.
Она знакома откуда-то мне,
Ступай, не буди ее!

Когда же вовсе померкнет свет,
Она коснется струны,
И звуки, чудесней которых нет,
Всю ночь над садом слышны.

Без возврата

Плыл челнок в ночную мглу,
Фея села на скалу.
Вот и песню затянули
Те, кто в море потонули.

А едва настал рассвет,
На скале той феи нет,
И челнок на дне отныне,
И рыбак пропал в пучине.

Снег

Если снег холодный тает
И стоишь ты у ворот,
Парень – так оно бывает –
Толковать с тобой начнет.
Восхвалять он начинает
Свет очей и цвет кудрей,
Если снег холодный тает,
Ты за ум берись скорей!

Если солнышко пригрело
И повеяло теплом,
Ты и вовсе осмелела
И гуляешь с ним вдвоем.
Чуть не плакать захотела
Ты от ласковых речей.
Если солнышко пригрело,
Ты за ум берись скорей!

Если в путь пустились птицы,
Только глянешь за окно.
Погулять уж не случится –
Бросил он тебя давно.
Бедный разум помутился,
Чуть затеплился восход.
Если в путь пустились птицы,
Ох, беда тебя убьет!

Сломанное колечко

Над реченькой прохладной
Вертятся жернова,
Да нету ненаглядной,
Что тут жила сперва.

Мне верность посулила,
Кольцо дала в залог,
А после изменила,
И треснул перстенок.

Пойти бы мне по свету
Со скрипкою вдвоем
И петь бы песню эту,
Ходя из дома в дом.

Пойти в солдаты, что ли,
И в битву гнать коня,
И темной ночью в поле
Погреться у огня?

А жернова вертятся
Уже который год...
Вот с жизнью бы расстаться, —
И тишина придет!

Пленный

Край неба золотится,
Сияет всё кругом,
Пустился славный рыцарь
В далекий путь верхом.

И птицы засвистели
На самый разный лад,
А ясени и ели
Ветвями шелестят.

И гонит всю дорогу
Коня до тех он пор,
Покамест понемногу
Не въедет в дикий бор.

А конь, забыв усталость,
Во весь несется дух:
«Беда моя умчалась,
Настало счастье вдруг!»

Он ведаёт отраду
Узреть зелёный дол,
Где ключ струит прохладу
И каждый куст расцвел.

И, спешившись, ложится
На берегу ручья,
Который дальше мчится,
Весёлый звон струя.

В тени ветвей склоненных
Торопится ручей,
А рыцарю смеженных
Не разомкнуть очей.

Чуть различил, что тучи
Закрыли небосклон,
Тотчас его дремучий
Охватывает сон.

Но тут незримый кто-то
К устам прижал уста,
И гонят прочь дремоту
Любовь и красота.

Весенний луг лучится,
Бежит ручей златой,
И женщина садится
С ним рядом над водой

«А у меня остаться
Не хочешь разве ты?
Ты мог бы любоваться
На алые цветы.

Стоял бы лес на страже,
И мы в тени ветвей
Дни проводили наши
Куда бы веселей».

Пленительное тело
К любимому клоня,

В глаза она глядела,
К себе его маня.

В уста поцеловала,
И шлем с него сняла,
И кудри расчесала,
И плечи обвила.

Ее он обнял смело,
С ней тешась до зари,
И вдруг похолодело
У рыцаря внутри.

Она же обхватила
Красавца своего,
И никакая сила
Не вызволит его.

Хрустальный замок вырос
На той поляне вдруг.
Ручей пропал, но ширясь
Река течет вокруг.

Бегут, бегут куда-то
Кораблики по ней,
И нет ему возврата
Из колдовских сетей.

Печальный охотник

По мельничихе милой,
Что за лесом жила,
Как должно, над могилой
Звонят колокола.

Где взять, однако, смелость
Туда направить путь?
Охотнику хотелось
На мельницу взглянуть.

Деревья отшумели,
Охоту он забыл.

А все трубил, без цели
Сердечный тратя пыл.

Вдруг тихо стало сразу
Под сенью диких гор.
Никто его ни разу
Не видел с этих пор.

Заблудший охотник

«Однажды в зелени густой
Явился мне олень,
И мне за ним, забыв покой,
Весь век ходить не лень.

Друзья, трубите в рог скорей,
Не мешкайте вы зря.
Олень манит красой своей,
Вперед зовет заря».

Олень охотника ведет
В густой зеленый лес,
И по дороге видит тот,
Как много есть чудес.

«Деревья вечером шумят,
Года мне грудь сожгли,
Друзья ушли, повеял хлад,
И мир исчез вдали».

Хорош олень был среди скал,
Не усидишь в дому.
Плутал охотник и пропал –
Не выбраться ему.

Немецкая девушка

Случилось девушке одной
Стоять на башне крепостной.
Как будто в море буйный вал,
Кровавый бой не затихал.

За честь наследственной земли
 В долине братья полегли,
 И рыцарский победный флаг
 Держала девушка в руках.

Но тут вперед выходит тот,
 Кто вражьи полчища ведет.
 Как солнце, шлем на нем горит,
 И римский рыцарь говорит:

«Склони главу ко мне на грудь
 И госпожой моею будь,
 И станет замок твой богат,
 И будет пышен твой наряд.

Твоих очей безмерна власть,
 Судьба мне здесь в лесу пропасть!
 В огне, в безжалостном бою,
 Сыскал невесту я свою!»

И к замку, не страшась огня,
 Он поспешил, сойдя с коня,
 И следом слуги, что должны
 Снять деву с крепостной стены.

Но прочь она толкает слуг,
 Летит в огонь любезный друг,
 В огонь бросается она,
 И тотчас рушится стена.

Свадебная ночь

Привольно Рейн струится
 В полночной тихой тьме,
 Ведет кораблик рыцарь,
 Стоящий на корме.

Угрюмый и усталый
 Стоит он за рулем.
 Алес крови алой
 Пятно горит на нем.

Он молвит: «На отроге
Я замок узнаю
И на его пороге
Любимую мою.

Мне верность посулила
В былые времена,
А после изменила
И стала жизнь темна».

Теперь гостей немало
Сошлось на свадьбу к ней,
И вдруг ей грустно стало
Средь праздничных огней.

Толпа плясать пустилась,
Корабль исчез из глаз,
И вниз она спустилась
И по саду прошла.

И скрипки заиграли,
Покорны скрипачам,
И горький глас печали
Рвал сердце пополам.

И тут жених явился
Из темноты ночной,
Едва он к ней склонился,
В душе настал покой.

Он рек: «Забудь печали
И стань повеселей,
Коль звезды засияли
И Рейн бежит бодрей.

Хорош, скажу по чести,
Твой свадебный венок,
Давай по Рейну вместе
Прокатимся чуток».

В душе разыграла смелость,
Вняла она ему

И на носу уселась,
И сел он на корму.

Твердит она: «Повсюду
Я слышу странный звон,
Да не пойму откуда
Он ветром занесен.

Я местности окрестной
Уже не узнаю.
Мне страшно, сердцу тесно
В неведомом краю.

На нас глаза чужие
Глядят со скал нагих.
Куда же мы спешили,
И как спастись от них?»

Жених глядит сурово
На кипень пенных вод.
Не вымолвив ни слова,
Он яростно гребет.

«Уже огни рассвета
Я различить могу,
Кричит, я слышу, где-то
Петух на берегу.

Неслыханная ярость
Видна в чертах твоих,
Тебя я испугалась,
И ты мне не жених».

Он встал, – еще шумели
Река и лес вокруг, –
Невестой овладели
Надежда и испуг.

И счастлив без предела,
Возлюбленный жених
Сжал трепетное тело
В объятьях ледяных.

Тут озарились дали
И расступилась мгла,
И люди увидали –
Невеста умерла.

Прощание

Прощай, напев старинный!
Едва ли будет впредь
Неласковой судьбиной
Дозволено мне петь.

Мир был когда-то краше
По воле вышних сил,
И саженцы тут ваши
Я в землю посадил.

А нынче ваши кроны
Склонились надо мной,
И в памяти бездонной
Я как в глуши лесной.

Я часто вам внимаю,
Печален и угрюм,
И юность вспоминаю
Под ваш немолчный шум.

ПОЗДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Весенние сумерки

Весна плывет
 Меж кустами и деревьями
 Тихими снами
 Всю ночь напролет.
 В облаках над лунной долиной
 В мантии длинной
 Стан стройный
 В памяти всплыл беспокойной,
 Сходя по кремнистым скалам
 К своим бывалым
 Другьям старинным, ключам глубинным,
 Что по ложбинам,
 По краю лесному,
 Бегут сквозь дрему.
 Валиться, клониться, молчать и таиться
 Пойдут, как случится,
 Листва и пшеница.
 Лишь бы прознали
 Ветра, что липы качали,
 Прошли, где ходят косули,
 И над водой вздохнули.
 А русалки, из вод вставая,
 Ждут ответа –
 Откуда нежность такая, –
 Что сказать им на это?

Прощание птиц

Теперь прощайте, скалы,
 Долины и холмы!
 Уже листва опала,
 Вот улетим и мы.

 Цепями гор хранима,
 Пускай земля заснет,
 И звезды пусть всю зиму
 Обходят небосвод.

Пусть даже всё истлеет
И сгинет всё вокруг,
Весной опять повеет,
И мир проснется вдруг.

Ночью

Стою в лесу среди тумана,
У края жизни моей.
Ковру подобна поляна,
И словно лента ручей.

В лесном проступают гуле
Далекие колокола,
От страха дрожит косуля,
И вновь ее дрема взяла.

И всё шелестят над бездной
Деревья, клонясь ко сну,
По горам ходит царь небесный,
Благословляя страну.

Одинокий боец

А ты покинут всеми,
Не нужен никому,
Тебе, должно быть, время
Навек уйти во тьму.

Былых друзей не трогай
Один веди свой спор;
Друзья своей дорогой
Летят во весь опор.

Что ж, и один среди поля
Я выйду на врага, —
Мне собственная доля
Не слишком дорога.

Не жду я восхвалений,
Уж не подняться мне.
Меня листвою осенней
Запорошит во сне.

Но я смежаю очи,
Спокойствие храня,
И звон мечей средь ночи
Оплачет пусть меня.

Да будет так, доколе
Весеннюю порой
Не выйдет в чисто поле
Неведомый герой.

«Не мы всему начало, –
Собратьям скажет он, –
Здесь кровь из ран хлестала,
Но дух был просветлен!»

Джордж Гордон Байрон 1788-1824

Забыть тебя!

Забыть тебя! Забыть тебя!
Мир сгинет среди летеиских вод,
Пока, горячкой теребя,
Тебя раскаянье проймет!

Забыть тебя! Тому не быть.
Твой муж ведь помнит о жене!
И нам обоим не забыть, –
Ему – обман, жестокость – мне!

На вопрос о происхождении любви

Где родилась любовь? О том
Напрасно вопрошаешь ты, –
Она рождается в любом,
Кто увидал твои черты.

И где конец настанет ей,
Провидит сердце наяву:
Влачить ей дни среди скорбей,
Но жить, покуда я живу.

Послание к Августе

Сестра моя, сестра! Когда найду
Светлее слово, заменю им это.
Меж нами горы, но не слез я жду,
Нет, на свою любовь я жду ответа.
И так всегда: куда я ни пойду,
Печаль моей души прорвется где-то.
Мне два прибежища даны судьбой:
Мир – для скитаний, дом – где я с тобой.

Но что мне мир, когда с тобой единой
Счастливой гавани я бы достиг.
Другие узы бед моих причиной, –
Не буду отрывать тебя от них.
Сын твоего отца забыт судьбиной,
И нет ему поблажек никаких.

Не знал покоя дед в открытом море,
А я на берегу извещал горе.

И, коль достались по наследству мне
Шторма и бури, и на диких скалах,
Опасности не видя в глубине,
Я всякого вкусил в житейских шквалах, –
Я сам виновен. Не ищу вине
Смягченья в парадоксах запоздалых.
Я сам избрал печальный жребий свой,
Своих несчастий верный рулевой.

Я виноват – и вот мне наказание:
Всю жизнь сражаться, с первого же дня,
Как я родился и обрел призванье
И с толку сбить судьба рвалась меня.
Казались непосильными страданья,
Я рад был умереть, судьбу кляня.
Но нынче был бы рад, коль жизнь продлится,
Увидеть, что же дальше приключится.

Погибли царства на моем веку,
А я не стар и, по сравненью с ними,
Свою тревогу и свою тоску
Считаю просто брызгами морскими
От пенных волн, бегущих по песку.
Я не прельщусь надеждами пустыми,
Но где-то верю, – отчего, бог весть, –
В самих страданьях смысл какой-то есть.

Быть может это только самоменье?
Иль пал я духом и уже вошло
Терзаться и страдать в обыкновенье?
Быть может, мягкий климат и тепло
(Здесь и душа узнала обновление
И тело легкий панцирь обрело)
Желанное спокойствие мне дали,
Не знавшим бурь понятное едва ли?

Я ощущаю сызнова порой
Волненье детских лет. Леса и воды
Напоминают мне мой край родной,
Где за ученьем проходили годы.

И детство вновь встает передо мной,
И внемлет сердце голосу природы
И счастливо любить, но все равно:
Так, как тебя, любить мне не дано.

Вершины Альп не просто тешат око,
Их красота не только удивит,
Но, кажется, задуматься глубоко
Заставит их величественный вид
Здесь одиночество не так жестоко.
Недаром же меня сюда манит!
Здесь озеро всего, должно быть, краше!
Но не милей оно, чем было наше.

О, будь ты здесь со мной! И всех похвал,
Что одиночеству воздал я было,
Не стало, чуть я только пожелал,
Чтобы его со мной ты разделила.
Я много бы еще чего сказал,
Да жаловаться мне давно постыло.
Я вижу – философия моя
Бессильна, оттого и плачу я.

Об озере у замка родового,
Которому моим недолго быть,
Хотя хвалить Леман я буду снова,
Я не смогу вовеки позабыть;
Не властно время, хоть оно сурово,
Обоих вас из памяти избыть,
Хотя, как все, что было мной любимо,
Вы далеки теперь невозвратно.

Весь мир передо мной, но об одном
Природу попросить хочу я ныне:
Пусть обогреет солнечным теплом
И даст вкусить покой небесной сини,
Чтоб любоваться мне ее челом,
А не томиться в безысходном сплине.
Моей сестрой она могла бы стать,
Пока с тобой не свижусь я опять.

Все чувства я умерю, но такое
Не собираюсь, если уж дано

В чертах природы мне узнать былое
 И в ней найти все, что любил давно.
 Оставь я прежде скопище людское,
 И лучше стать мне было б суждено!
 Тогда бы, страсти укротив сначала,
 Я не страдал и ты бы не рыдала.

Ты не сочти, что я честолюбив
 И славы и любви искал доселе.
 Они явились сами, мне вручив
 Лишь имя громкое – все, чем владели!
 А ведь не этим прежде был я жив
 И более достойной жаждал цели!
 Но все прошло. Как повелось в веках,
 Пришлось и мне остаться в дураках.

А мир грядущий – не моя забота.
 Да я и так, пожалуй, зажился,
 И словно бы ушло из жизни что-то,
 С собой пережитое унеся.
 Но не окутала меня дремота.
 Я бодрствовал. Изведав все и вся,
 Я мог бы счесть, что прожито столетье,
 Хоть четверть века я живу на свете.

И, что бы ни принес остаток дней,
 Доволен буду и о жизни прежней
 Худого не скажу, – бывал и в ней
 Миг счастья у души моей мятежной.
 Да и теперь не все в душе моей
 Окаменело, – и простор безбрежный
 Окидывая взором, я готов
 К ногам природы вечной пасть без слов.

Что ж до тебя, сестра, не верю, чтобы
 Могли мы стать друг с другом холодны.
 Уж, видно, так устроены мы оба,
 И совладать с собой мы не вольны.
 С начала нашей жизни и до гроба,
 И вместе, и опять разлучены, –
 Мы связаны, и смерти дуновенье
 Прервет последним первое влеченье.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Уильям Шекспир 1564-1616

(С английского)

<i>Сонеты</i>	
42.....	5
66.....	5
77.....	6
129.....	6
140.....	7
<i>Юлий Цезарь</i>	8

Иоганн Вольфганг Гёте 1749-1832

(С немецкого)

<i>Страдания молодого Вертера</i>	142
---	-----

Вильгельм фон Левенштейн-Вергхайм 1780-1842

(С немецкого)

Эти песни и моленья.....	239
--------------------------	-----

Иозеф фон Эйхендорф 1788-1857

(С немецкого)

Песни странника.....	240
Новое плавание.....	240
Всеобщее странствие.....	240
Сумерки.....	241
Ночью («В тиши бродил я дотемна...»).....	241
Странствующий музыкант.....	242
1. «Я бродяга был сызмальства...».....	242
2. «Встало б солнышко над нами...».....	242
3. «Припади к моей груди...».....	243
4. «На скамеечках, зевая...».....	243
В предместье.....	244
Влюбленный странник.....	245
1. «От дома к другому дому...».....	245
2. «Песня, что в слезах слагалась...».....	245
3. «Родная, с тобой я расстался...».....	246
4. «Где луг зеленый...».....	246
5. «Облака, что над домами...».....	247
В замке.....	248
Ярмарка.....	248
Прощание («Леса, поля и дали...»).....	249
Прекрасная чужбина.....	250
Любовь на чужбине.....	251
1. «Люблю бродить в ночной прохладе...».....	251

2. «Над утесами сквозь дрему...».....	251
Дорожное изречение	252
Странствующий поэт.....	252
Тоска по родине	253
Последнее возвращение.....	253
Жизнь певца.....	255
Отзвуки.....	255
1. «Птицы в солнечную пору...»	255
2. «Это что еще за сила...».....	255
Два товарища	256
И это стихи?	256
Поэт.....	257
1. «За гранью, у потока золотого...».....	257
2. «Тому, кто пригубил воды студеной...».....	258
3. «Не по пустому бреду сумасброда...»	258
Грусть	259
1. «Мне петь порой случится...».....	259
2. «Сердце, что с тобой такое...»	259
3. «Когда-то на свете жили...»	260
Память	261
Оставь печаль.....	261
Верность («Пусть все птицы среди лета...»)	262
Призыв («С утра трубит дуброва...»).....	262
Добрый совет	263
Поворот.....	263
Русый рыцарь.....	264
Вдохновение.....	264
Реплика	265
Ворчун	266
Верность («Воспрянь душа! Как ни томят печали...»).....	266
Судьба поэта	267
Сомнение	267
Летний зной.....	268
Эльдорадо.....	268
Рань	269
На прощание	270
Напрасная досада.....	270
Негодование («Есть в мире край, где царствуют мещане...»).....	271
Утешение.....	271
Поэтам	272
Волшебная палочка	273
Песни наших дней.....	274
Пленный (В плену томился рыцарь...»).....	274

«Хоть мы и шутим, не избыть печали..»	274
Дух	275
Стенание	275
Гнев	276
Призыв («Один лишь ветер внемлет нашим стонам...»).....	277
Тирольский ночной страж	277
Прощание охотников.....	278
На Рейне	279
Негодование («Покрыл туман осенний...»).....	279
Решение	280
Солдатская песня	280
Друзьям.....	281
Неподалеку от Галле	282
Минуло	283
Весна и любовь.....	285
Весенние голоса.....	285
Волшебная сеть.....	285
Весеннее приветствие	286
Вечерний пейзаж	287
Напоминание.....	287
Воробьи	287
Подснежники	288
Прогулка.....	288
Девичья душа.....	289
В плену	289
Утренняя серенада.....	290
Вечерняя серенада.....	290
Ночь	291
1. «Пернатых радостное пенье...».....	291
2. «Вспыхнет звезда над миром...».....	291
Выбор.....	291
Тишина	292
Весенняя сеть.....	293
Девчонка	293
Студенты	294
Садовник	294
Охотник	295
Дозорный.....	295
Тихое счастье	296
Поэт («С ней в разлуке вспоминаю...»)	296
Малютка	297
Охотник и охотница	297
Невеста	298

Умница	299
Счастье любви.....	299
Ночь («Ночь сродни морской тиши...»)	300
К танцовщице.....	300
Сетование	301
Осенью.....	302
Последнее приветствие	302
Под липой.....	303
Серенада	303
Новая любовь	304
Весенняя ночь	304
Счастье	305
Радость любви.....	305
На закате.....	306
Отзвуки.....	307
1. «Если дол цветет с утра...».....	307
2. «О, кроткий день осенний...».....	307
3. Моему брату.....	308
Дань умершим	310
Верность («Странник слезы льет порою...»)	310
На смерть моего ребенка («Значит, жизни не осталось...»)	310
Воспоминания.....	310
На чужбине.....	311
О душе.....	312
Юношеские раздумья.....	312
Вечер.....	312
Будни	313
Зима.....	313
На повороте	314
Больной.....	314
Погребальный звон.....	315
Странник.....	315
Отшельник.....	316
Певец.....	316
Утренние сумерки	317
Сочельник.....	317
Прощание («На ночь глядя лес гудит...»)	318
Лунная ночь.....	318
В добрый час!.....	319
Ночная песня.....	319
Ночные голоса	320
Зимняя ночь.....	320
Так или иначе.....	320

Напролом!	321
Романсы	322
Свадебное путешествие	322
Ночной странник	325
Дочь леса	326
Незнакомец	326
Тихий жених	327
Разговор в лесу	328
На реке Заале	328
Старый сад	329
Без возврата	329
Снег	330
Сломанное колечко	330
Пленный («Край неба золотится...»)	331
Печальный охотник	333
Заблудший охотник	334
Немецкая девушка	334
Свадебная ночь	335
Прощание («Прощай, напев старинный...»)	338
Поздние стихотворения	339
Весенние сумерки	339
Прощание птиц	339
Ночью («Стою в лесу среди тумана...»)	340
Одинокый боец	340
Джордж Гордон Байрон 1788-1824	
(С английского)	
Забуть тебя!	342
На вопрос о происхождении любви	342
Послание к Августе	342

Подписано в печать 02.08.2019 г.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 18,4. Тираж 50 экз.
Заказ № 5189.

Отпечатано с готового оригинал-макета заказчика
в ООО «Издательство “ЛЕМА”»
199004, Россия, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д.28
тел.: 323-30-50, тел./факс: 323-67-74
e-mail: izd_lemma@mail.ru
<http://www.lemaprint.ru>

ПОЭЛЪ КАРПЪ ПЕРВЫЦЪ ТОМЪ 1